

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ



М. Торький



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Сборник составляют литературные портреты, написанные Горьким на протяжении тридцати лет. Это обширная галерея замечательных людей конца прошлого — начала нынешнего века. Среди очерков — известные воспоминания Горького о В. И. Ленине, здесь же портреты Л. Б. Красина, И. И. Скворцова-Степанова, С. А. Тер-Петросяна (Камо), М. Е. Вилонова. В сборник входят воспоминания Горького о Льве Толстом, а также очерки о Чехове, Короленко, Коцюбинском, Сулержицком, Стасове и др. Впервые сборник под названием «Портреты замечательных людей» и в несколько ином составе вышел в серии «ЖЗЛ» в 1936 году.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [М. Горький](#)
 -
 -
 - [ОТ СОСТАВИТЕЛЯ](#)
 - [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
 - [В. И. ЛЕНИН](#)
 -
 - [Комментарии](#)
 - [Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
 - [«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»](#)
 -
 - [Комментарии](#)
 - [В. Г. КОРОЛЕНКО](#)
 -
 - [Комментарии](#)

- [О МИХАЙЛОВСКОМ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [Н. Ф. АННЕНСКИЙ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [\[А. Н. АЛЕКСИН\]](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [А. П. ЧЕХОВ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [ЛЕВ ТОЛСТОЙ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [О С. А. ТОЛСТОЙ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [\[Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ\]](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [\[О СТАСОВЕ\]](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [САВВА МОРОЗОВ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [ЛЕОНИД КРАСИН](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [И. И. СКВОРЦОВ](#)
 -
 - [Комментарии](#)
- [МИХАИЛ ВИЛОНОВ](#)
 -
 - [Комментарии](#)

- [М. М. КОЦЮБИНСКИЙ](#)



- [Комментарии](#)

- [ИВАН ВОЛЬНОВ](#)



- [Комментарии](#)

- [КАМО](#)



- [Комментарии](#)

- [СЕРГЕЙ ЕСЕНИН](#)



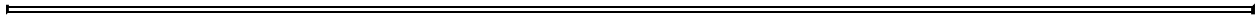
- [Комментарии](#)

- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- [INFO](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 11

(358)

М. Горький

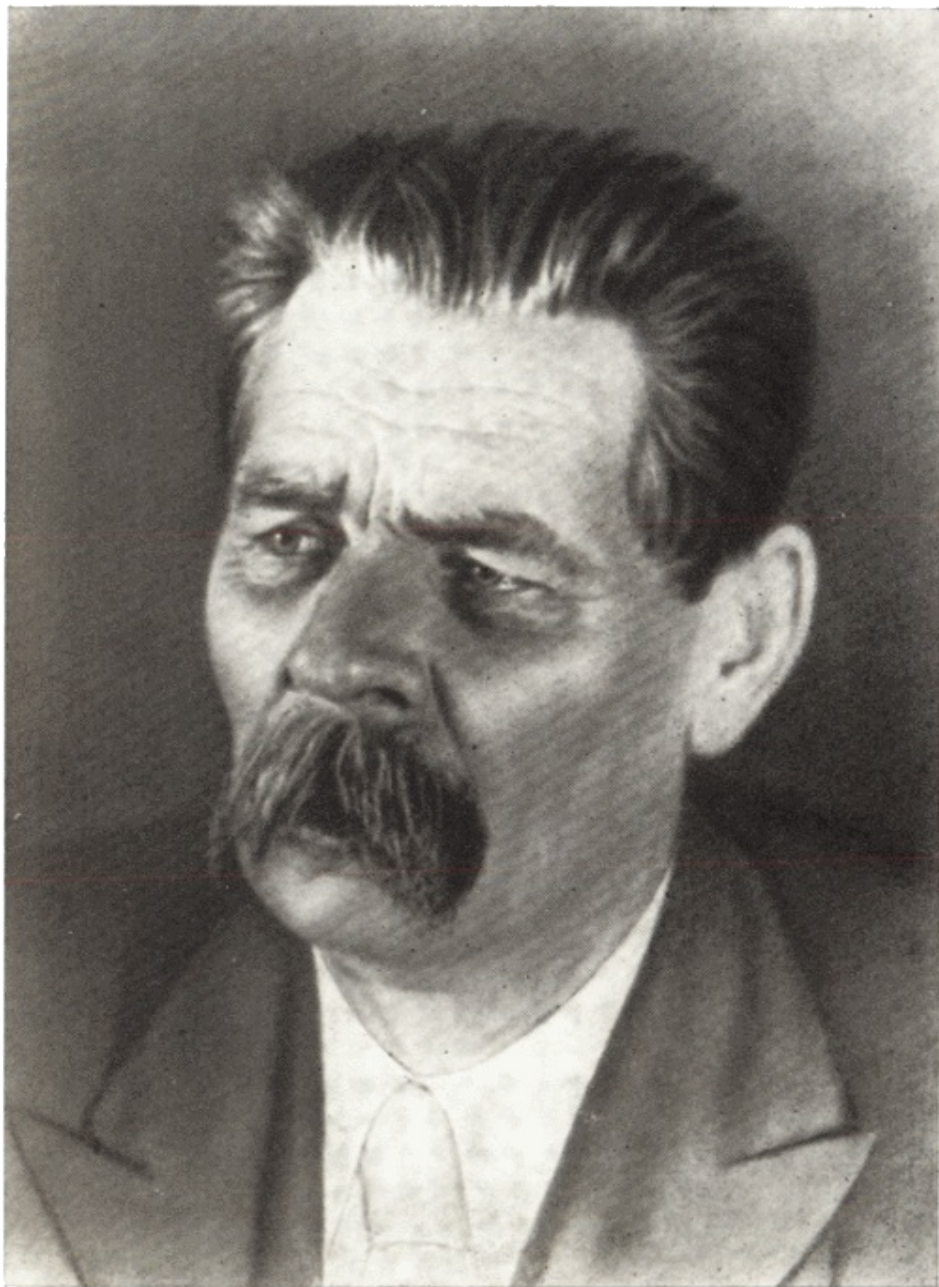
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

© Издательство «Молодая гвардия»,
состав, предисловие от составителя, примечания, 1983 г.



М. Горький

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Чем больше живу, — писал А. М. Горький незадолго до своего шестидесятилетия, — тем все более заманчиво интересными кажутся люди. Грустно, что у меня уже нет времени написать книгу, в которой была бы подробно изображена жизнь десяти тысяч русских людей... Многие из тех, кого я знал, уже умерли; я боюсь, что, кроме меня, — некому рассказать о них так, как я хотел бы, и боюсь: выйдет так, как будто этих людей не было на земле». Он видел такого рода книгу как портретную галерею людей, встреченных им на «извилистых» путях и перепутьях его сложной «пестрой» жизни.

Это были бы «десять тысяч резко очерченных личностей» — и каждый со своим «тоном», своими излюбленными словечками, своей манерой, своим отношением к миру и людям. Каждый «талантлив в том или ином». Горький вообще был убежден, что «все люди талантливы, русские» — «исключительно, фантастически» талантливы и своеобразны. Он находил, что «по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодарный материал для художника».

И все же не только знакомство с этими людьми и естественное желание продлить с ними общение побуждали Горького воссоздать, удержать в жизни властью данного ему искусства слова множество затейливо разных, но все «милых сердцу» русских людей.

Горький вменял Пушкину в заслугу, что он первым осознал: «литература — национальное дело первостепенной важности», и первым «поднял звание литератора на высоту до него недостижимую», провозгласив поэта выразителем чувств и дум народных, тем, кто призван «понять и изобразить все явления жизни». Для Горького писатель — человек высокой общественной значимости, фигура почти священная. А литература — «превосходный источник «народоведения» — человековедения».

Объясняя, что побудило его к хождению по Руси, Горький говорил, что то не была склонность к бродяжничеству, но «желание видеть — где я живу, что за народ вокруг меня». В книге «По Руси», где почти с хронологической точностью запечатлено это хождение по родной земле, знакомство с глубинной Россией, явившейся ему вереницей лиц, характеров, типов, Горький отметил, что каждый человек «возводил» его к познанию жизни, подсказывал ответ на «беспокойный, неумолкающий

вопрос»: «Что такое человечья душа?» Каждый открывал ему нечто в душе человеческой, душе народа, а значит, углублял понимание «коренного в русской психике и русской жизни», понимание судеб народа.

В той же книге Горький, помимо портретов индивидуальных, дал и портреты групповые — людей «зимних», «неудавшихся», «сектантов», «толстовцев», тем самым как бы прочерчивая путь обобщения, что ведет от единицы к той или иной группе и далее — к народу в целом.

В 1904 году, прочтя поэму Горького «Человек» — подлинный гимн во славу человека, который, преодолевая все тяготы жизни, шествует вперед и выше, «все — вперед! и — выше!», Леонид Андреев с удивлением писал Горькому: «Вот что в нем («Человеке». — Г. П.) поразило меня...» — не художественная сторона — «у тебя есть вещи сильнее», «а то, что он при всей своей возвышенности передает только *обычное* состояние твоей души. *Обычное* — это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждою, — у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным, а в частности для меня таким дорогим и незаменимым».

Этот высокий строй горьковской души, о котором пишет Л. Андреев, питался убеждением, что «человек — ось мира», но — не в меньшей мере — верой в возможности, угаданные им в собственном народе. Глубинка «талантлива и крупна, богата великими силами и чарующей красотой» — таков был вывод Горького от хождений по родной земле.

Оптимизм Горького получил веское подкрепление в 1905 году. Горький явственно ощутил, что происходят социальные сдвиги, которые, как он надеялся, будут в ближайшем будущем способствовать развитию потенциальных дарований каждого человека. Выработывалось сознание, что жизнь надо менять и делать это следует сообща, всем миром. И уже появились «новорожденные люди», наделенные необходимой для таких изменений социальной, коллективной психологией.

В воспоминаниях о Михаиле Вилонове Горький приводит следующий разговор. «Пишете вы — не плохо, — сказал ему однажды Вилонов «с добродушной суровостью», — читать вас я люблю, а — не совсем понимаю. Зачем это возитесь вы с каким-то человеком, пишете его с большой буквы даже? Я эту штуку «Человек» в тюрьме читал, досадно было. Человек с большой буквы, а тут — тюрьма, жандармы...» Горький возразил, что для него «вот он, Вилонов, уже Человек с большой буквы». Тот, нахмурясь, отмахнулся: «Ну-у, что там? Таких как я, — сотни, мы — чернорабочий народ в революции...» А для Горького Вилонов и был одним

из тех «новорожденных людей», с которыми он связывал приближение желаемых добрых перемен.

Изучение и деяние — именно эти два столпа Горький считал основой культуры и полагал, что требуется постоянная, планомерная, сознательная работа, чтобы возможности каждого человека претворялись в действительность. Наследником тысячелетней деятельности человечества хотел он видеть своего современника, наследником всего того, что создано народом в области и материальной и духовной культуры. А стало быть, надо «знакомить» людей друг с другом и со своими предшественниками. Эта задача для Горького тем более стала актуальной после Октября, что, по его мнению, именно новое общество должно было помочь формированию нового человека — человека реализованных возможностей. Он надеялся, что поколение, идущее на смену, «воспитает себя шире, глубже — лучше нас». За это, полагал он, «говорит эпоха, насыщенная трагическими вопросами и задачами, поставленными к разрешению с резкостью, с настойчивостью никогда еще не бывалой». Сама эпоха внушает мужаящему поколению — будь деятельным, и — будет так. И в этой своей деятельности ему следует опереться на опыт людей прошлого.

Горький не успел написать «десяти тысяч» портретов и книги, которая виделась ему. Часть написанного составила цикл «Заметки из дневника. Воспоминания». Часть, видимо, должна была войти в незаконченный цикл «Записки из дневника». Большое число набросков к портретам осталось в бумагах Горького. Тут люди простые и люди изумительной «емкости» души, «поражающего обилия интересов, знаний, идей». Такое сочетание портретов разных людей принципиально для Горького, ибо по Горькому, герои — это «цветение масс».

Густо населены реально бывшими людьми автобиографическая трилогия, «По Руси», «Жизнь Клима Самгина». В трилогии Горький сравнивал себя с ульем, куда «разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу... кто чем мог». «Часто мед этот бывал грязен и горек, по всякое знание — все-таки мед».

На протяжении трех десятков лет Горький создает портреты лучших из лучших, замечательных представителей своего народа. Он оставил нам портреты людей уходящей Руси и Руси нарождающейся — Льва Толстого и Ленина, Саввы Морозова и Красина, Есенина, Ивана Вольнова, Стасова, Каропина-Петропавловского, Анненского, Чехова, Коцюбинского, Михаила Вилонова, Ивана Скворцова, Сулержицкого...

Горький всемерно побуждал окружающих писать историю своей

жизни. Он записывал за Шаляпиным его «Автобиографию», готов был субсидировать того, кто взялся бы «составить» биографии Пушкина, Герцена.

Начиная с 1916 года он пытается организовать биографическую библиотеку, которая бы показала преемственную работу поколений — процесс духовного развития человечества вообще и России в частности. Замысел осуществился только в 1933 году, когда на базе Жургазобъединения была создана универсальная долговременная биографическая серия «Жизнь замечательных людей». В 1938 году в соответствии с пожеланием Горького серия стала выходить в издательстве «Молодая гвардия», где и издается по сей день.

В серии «ЖЗЛ» литературные портреты Горького впервые напечатаны в конце 1936 года, под названием «Портреты замечательных людей». Книга включала восемь очерков о современниках и лекцию о Пушкине. Этой книгой «ЖЗЛ» почтила память «отца издания», как сказано в предисловии от редакции. В расширенном виде сборник воспоминаний Горького — «Литературные портреты» — вышел в 1963 году и был повторен в 1967 году.

Настоящее собрание составляют написанные в разное время очерки о людях, различных по масштабам своих дарований и своей деятельности, по степени влияния их на современное им общество и потомков. Каждый из этих людей — часть автобиографии самого Горького. Учитывая это обстоятельство, составитель стремился по возможности разместить очерки в хронологической последовательности, помогающей читателю уловить связь многих событий и лиц. Исключение сделано для очерков: «В. И. Ленин», которым открывается книга, и «О Михайловском», примыкающего по смыслу к очеркам «Время Короленко» и «В. Г. Короленко».

Данное издание приурочено к пятидесятилетию серии «Жизнь замечательных людей», исполняющемуся в 1983 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

Составитель и автор примечаний Г. Померанцева

Тексты очерков, включенных в сборник, даны с некоторыми сокращениями по изданию; Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25 т. М., «Наука», 1968–1976 (ИМЛИ).

Названия очерков, не принадлежащих Горькому, указаны в квадратных скобках. Подстрочные примечания, принадлежащие Горькому, специально оговорены в соответствующих местах.

Условные сокращения:

ПСС — Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25 т. М., «Наука», 1968–1976 (ИМЛИ);

Г-30 — Горький М. Собр. соч. в 30 т. М., Гослитиздат, 1949–1955 (ИМЛИ);

Арх. Г. — Архив А. М. Горького. М., т. I–XIV; М., ГИХЛ — «Наука», 1939–1976 (ИМЛИ);

ЛЖ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 1–4. М., Изд-во АН СССР, 1958–1960 (ИМЛИ);

Горький и Ленин — В. И. Ленин и А. М. Горький. М., «Наука», 1969.

Всюду: первая цифра означает том, вторая — страницу.

Комментарии по тексту даны в конце каждого очерка.

В. И. ЛЕНИН

Очерк написан в 1924 г. как отклик на смерть В. И. Ленина. Впервые, в отрывках, опубликован в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 11 апреля того же года и в мае, с небольшими сокращениями, в журнале «Русский современник» под названием «Владимир Ленин». В полном виде — в первой редакции — вышел под заглавием «В. И. Ленин» в кн.: Горький М. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, «Книга», 1927. В 1930 г. очерк был Горьким переработан. В этой последней редакции появился отдельным изданием: Горький М. В. И. Ленин. М. — Л., ГИХЛ, 1931.

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, — нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного

русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, — написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь, вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19–21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертотом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне

весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»: оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полуторастами тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Всё вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт ^[1].

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили

рейнское вино и пиво, вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партий с.-д. говорили тоже кисло-кисло и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мягкости вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20 % со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие, лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов, — говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, — подумалось мне, — дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все, — он только что вышел из тюрьмы, — видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или революция», по словам одной «гэнсом лэди»^[2], которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский

язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК (б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, — у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, по и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но там я написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, — это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Всё пропало, — говорили они. — Всё разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченный человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, — это я знал с 903 года, — а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка, — можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съеживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головою, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что

особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты, — пренебрежительно говорил он, — пет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, желтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрасивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, всё-таки «боевым» тоном, он всё так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул;

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, как говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово

на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: всё есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод разворачивался сам собою — силою, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— 3-загово-орчики... в 3-заговорчики играете! Б-блан-кисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу всё

новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат всё более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выпрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-та-ки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие л Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытывавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, — сказал Ильич. — Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдохнуть.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат, — студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков:

— Для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны, и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагнул по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такова, пока, его судьба. Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его; присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагал. Чёрт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень

понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит, — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам!

Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодно и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, — невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю,

отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их зарботке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолубия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?^[3]

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака;

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию

восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, — Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже всё знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем пет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И всё — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется не так, как бог, по несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но — не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем: в юности и зрелом возрасте — от

недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости — от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку — Человеку с большой буквы.

В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей, — еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабащают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников, — сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет

брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, — иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907–1913, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своею с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства: С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню..

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой

интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломотовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться

свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, исказить, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, — я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, — в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Всё необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его всё громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная

ненависть к мерзостям ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неугомонного борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других попятить нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать

миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Всё у них просто, всё формулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как она пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем

насилия внедряется коммунизм», — он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам. А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительные силы... Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя... Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными приобретениями и в ничтожных дозах уделяли их для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут побеждены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика... Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовываем меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекают, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, — не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости

революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами, — говорил он, — ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь.

Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Мечь и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие психически нездоровые люди с болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили». Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу, — очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм, — сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. — Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, — кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу

вверх, он всё прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдуманно, то выдуманно неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал п, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — парод по преимуществу талантливый, по ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качеством, свойственным лучшей революционной интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не

отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу... Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть, — обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтоб они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, — тут нужен искусный повар. — И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, А. К. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держат душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держат душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понята, всё!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмутив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему пароду.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем

оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9. VIII. 1921 года:

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища,

чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знак равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — всё это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой среди адских условий 1918–1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своей кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова: «В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь

хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор?» «Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, по — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных

спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассалья...

Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории! Мы знаем историю, и мы говорим жертвам:

опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых, — я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду многого, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, по говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по моему, — не то и мало понятно. Рассыпано всё, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и

нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывая свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

Июль 30 г.

Комментарии

С. 8. *Владимир Ленин умер...* — Владимир Ильич умер 21 января 1924 г., 23 января по поручению Горького, находившегося в Италии, на гроб Ленина был возложен венок с надписью на ленте: «Прощай, друг! М. Горький», а 4 февраля Горький уже сообщал М. Ф. Андреевой, что написал о Ленине воспоминания: «Писал и — обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот — пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех» (Г-30, 29, 420).

...«который среди всех современных ему великих людей...» — Эта цитата, как и последующая, извлечена Горьким из статьи немецкой газеты «*Prager Tagblatt*», выходившей в Чехословакии. Статья, опубликованная 23 января, явилась непосредственной реакцией на известие о смерти Ленина.

Пресса русской эмиграции... — 26 января Горький извещал П. П. Крючкова, что начал писать свои воспоминания о Ленине, но — «с горя, зверски изругал «День», «Руль» и всех Керенских, Черновых. Пачкать имя большого человека соседством с этой шушерой не годится; буду писать заново» (ЛЖ, 3. 359).

С. 9. *...с Лондонского съезда...* — Речь идет о V (Лондонском) съезде РСДРП, который проходил в Лондоне с 30 апреля (13 мая) по 19 мая (1 июня) 1907 г. Горький был делегатом съезда с совещательным голосом. Приглашение на съезд по поручению ЦК РСДРП привез Горькому на Капри В. А. Десницкий — в марте 1907 г. Горький присутствовал на открытии съезда и далее вплоть до 16(29) мая включительно регулярно посещал его заседания.

До этого года я не встречал Ленина... — В первый раз Горький виделся с Лениным 27 ноября 1905 г. в Петербурге — сначала в редакции газеты «Новая жизнь», которая являлась фактически центральным органом РСДРП (издательницей была М. Ф. Андреева). А затем встретился у себя на Знаменской, где проходило заседание ЦК РСДРП, на котором обсуждался вопрос о подготовке вооруженного восстания, изменении состава редакции газеты «Новая жизнь» и издании в Москве большевистской газеты

«Борьба». В этот день Горький приехал в Петербург из Москвы вместе с В. А. Десницким, специально вызванный Л. Б. Красиным, чтобы рассказать ЦК о настроении московских рабочих. Но, как объяснял он потом, у него в тот день была высокая температура и он настолько смутно помнил все происходившее, что «не решился» поведать об этой встрече с Лениным в своих воспоминаниях о нем. Затем Горький виделся с Лениным конспиративно после поражения Декабрьского вооруженного восстания — в Гельсингфорсе, в Финляндии, в январе 1906 г. Но и эта встреча, как предшествующие, была краткой. Первая длительная встреча Горького с Лениным состоялась в конце апреля (начале мая) 1907 г. на квартире И. П. Ладыжникова в Берлине, куда Горький приехал по пути на V съезд партии. По свидетельству В. А. Десницкого, дни, проведенные в Берлине, очень сблизили Горького и Ленина. Они беседовали по вечерам, ходили в театр, были вместе в Тиргартене, зоопарке. Вместе ехали и в Лондон — сначала поездом, в одном купе, затем пароходом через Ла-Манш.

С. 10 ...«Мать»... прочитал... в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. — Ладыжников Иван Павлович (1874–1945) — друг и издатель Горького; в 1905—13 гг. — член хозяйственной комиссии ЦК РСДРП, выполнял за границей поручения большевиков по добыванию средств, транспорта и связи. С целью пополнения кассы партии большевиков и было — по инициативе Л. Б. Красина — создано книгоиздательство И. П. Ладыжникова в Берлине.

...автора решено привлечь к суду... — Против Горького было возбуждено обвинение в оскорблении царя за его статью в Венгрии по поводу событий 1848 г. Постановление о возбуждении судебного преследования против Горького как автора произведения, содержащего противоправительственную пропаганду (после выхода первой части повести «Мать» в сборниках «Знания»), было вынесено лишь в августе 1907 г.

...кажется, Фома Уральский... — Очевидно, Смирнов А. П. (1877–1938), делегат от Петербургской организации РСДРП. На V съезде был под кличкой Фома-питерец.

...лидеров партии, старых революционеров... Аксельрода, Дейча. — Аксельрод Павел Борисович (1850–1928), Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — члены группы «Освобождение труда», после II съезда РСДРП —

лидеры меньшевиков.

...за два года, прожитых мною вне родины... — В феврале 1906 г. Горький конспиративно, с помощью финских красногвардейцев, уезжает в Або... Стокгольм, Копенгаген. Затем направляется в Берлин по пути своему в Америку.

...обедал у Августа Бебеля... — Бебель Август (1840–1913) — один из основателей немецкой Социал-демократической рабочей партии; был членом I Интернационала, избирался депутатом рейхстага. В 90-е г. и в начале 900-х гг. — деятельный борец с реформизмом и ревизионизмом в партии. Ужин у Бебеля, о котором, видимо, и говорит Горький, состоялся 10 марта 1906 г.

Зингер Пауль (1844–1911) — соратник Бебеля, во II Интернационале принадлежал к марксистскому крылу, с 1884 по 1911 г. — член рейхстага, председатель социал-демократической фракции.

С. 11. Каутский Карл (1854–1938) — один из руководителей немецкой социал-демократии и II Интернационала, марксист, затем — идеолог централизма, разновидности оппортунизма.

...впоследствии весьма известный Парвус... — Парвус (псевд. Гельфанда Александра Лазаревича, 1869–1924) — в 90—900-х гг., живя в Германии, стал одним из деятелей немецкой социал-демократии. После II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам, в период революции 1905—07 гг. находился в России. В годы реакции отошел от участия в социал-демократическом движении, а в период первой мировой войны занимался крупными спекуляциями.

...в «Знание» К. П. Пятницкому... — Пятницкий Константин Петрович (1864–1938), был директором-распорядителем издательства «Знание». С конца 1902 г. идейно возглавлял издательство Горький.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит... старика Дебса... — Хилквит Морис (1869–1933) — один из основателей реформистской Социалистической партии США. С 1904 г. — член Международного социалистического бюро, участвовал в работе II Интернационала. Дебс Юджин Виктор (1855–1926) — один из основателей американской социал-

демократической партии, которая в дальнейшем составила ядро Социалистической партии, сложившейся в 1900—01 гг.

С. 12. ...поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК (б)... — Буренин Николай Евгеньевич (1874–1962), в революционном движении с 1901 г., заведовал и был организатором военно-технической группы при ЦК РСДРП, осуществлял переправу за границу делегатов IV и V съездов.

... пришел Чайковский с Житловским... — Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) — эсер, в 1906 г. создал в интересах своей партии «Комитет знаменитых американцев для помощи русской революции». Житловский Х. И. (1865–1943) — один из лидеров мелкобуржуазной еврейской социалистической рабочей партии, поддерживал связь с эсерами.

...послали туда «бабушку». — «Бабушкой русской революции» эсеры называли старейшую деятельницу своей партии Е. К. Брешко-Брешковскую.

...а мне царское посольство — устроило скандал. — Травля Горького, начавшаяся в буржуазных американских газетах по приезду Горького в Америку, была санкционирована и поддержана русским послом в Америке и его русско-американской агентурой. Поводом послужило то обстоятельство, что Горький приехал в Америку с М. Ф. Андреевой, брак с которой не был официально оформлен.

...но и в Америке нашелся Парвус. — «...Меня обокрал мистер Херст», — писал Горький Пятницкому из Нью-Йорка (Арх. Г., IV. 201). Газетный магнат Уильям Рандольф Херст в нарушение авторского права перепечатывал произведения Горького из европейских изданий.

С. 13. И — вдруг... я на съезде Российской социал-демократической партии... — По свидетельству делегата V съезда партии, съезд встретил появление Горького аплодисментами, особенно дружно его приветствовала фракция большевиков.

С. 14. ...чай пить с либералами... — Намек на встречу меньшевиков, в частности Дана, с лидером кадетской партии П. Н. Милюковым в ноябре 1906 г.

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. — Мартов, один из лидеров меньшевиков, на V съезде партии выступал с отчетным докладом о политической деятельности ЦК — на шестом заседании и не раз — в прениях.

...надобно поддерживать Думу. — На V съезде РСДРП обсуждался вопрос о тактике партии в Государственной думе.

С. 15. *...говорила Роза Люксембург...* — Люксембург Роза (1871–1919) — одна из основателей социал-демократической партии Польши, с 1897 г. — деятельная участница немецкого социал-демократического движения. На V съезде поддерживала большевиков. Роза Люксембург выступала на седьмом заседании съезда.

...не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией... — С докладом об отношении к буржуазным партиям Ленин выступил на двадцать втором заседании съезда.

С. 15–16. *...необходимость для партии подняться на высоту революционной теории...* — Ленин говорил об этом на четвертом заседании съезда.

С. 16. *Б-бланкисты!* — Заговорщицкую тактику выдвинул в свое время французский революционер Бланки Луи Огюст (1805–1881), коммунист-утопист. Бланкистами называли его последователей.

Вы не стоите на марксизме... — Слова, сказанные на съезде представителем польской социал-демократии Яном Тышкой.

С. 17. *Питанием их заведовала М. Ф. Андреева...* — Андреева Мария Федоровна (Желябужская, 1868–1953), актриса Художественного театра, член РСДРП с 1904 г., была гостьей V съезда.

...сормовского рабочего Дмитрия Павлова... — Павлов Дмитрий Александрович (1879–1920) — большевик, один из организаторов сормовской демонстрации 1 мая 1902 г., изображенной Горьким в повести «Мать». О нем см. у Горького: «Митя Павлов».

...шофер Ленина, Гиль... — Гиль Степан Казимирович (1888–1966) был

шофером у Ленина с 1917 по 1924 г.

С. 18. *Года через два, на Капри, беседа с А. А. Богдановым-Малиновским...* — Ленин беседовал на Капри с Богдановым в апреле 1908 г.

С. 19. *Но раньше... я увидел его в Париже...* — С Лениным Горький встречался в Париже позже — в 1911 и 1912 гг.

Десницкий Василий Алексеевич (Строев — псевд., 1878–1958), литератор, публицист. В социал-демократическом движении с 1897 г., со II съезда примыкал к большевикам. На V съезде был в качестве представителя ЦК РСДРП.

...хорошо бы восстановить библиотечку «Знания»... — В «Дешевой библиотеке» «Знания» был отдел марксистской литературы, созданный по предложению ЦК большевиков. Книги для издания отбирала специально созданная комиссия, в которую входили Ленин, Воровский, Красин, Луначарский, Ольминский. В результате постоянных цензурных репрессий отдел фактически прекратил свое существование, выпустив ко второй половине 1908 г. 59 политических брошюр.

...его предвидение вскоре оправдалось на Балканах... — Речь идет о войнах 1912—13 гг. между Балканским союзом и Турцией, а затем между странами самого союза.

С. 21. *...как будто Владимир Ильич был на Капри два раза...* — Ленин и в самом деле был на Капри дважды и в двух разных настроениях, в первый раз в апреле 1908 г. и пробыл у Горького шесть дней.

...с махистами... — Речь идет о Богданове, Луначарском и Базарове, которые выступили в сборнике «Очерки по философии марксизма» (1908) с философскими статьями, которые Ленин определил как «типичный философский ревизионизм» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 10). В письме к Горькому от 25 февраля 1908 г. Ленин писал, что, читая «Очерки», он «с каждой статьей прямо бесновался от негодования». «Нет, это не марксизм!» (там же, т. 47, с. 142).

...я вас предупредил в письме: это — невозможно! — Имеется в виду письмо Ленина Горькому от 24 марта 1908 г., где Ленин писал: «Получил

ваше письмо насчет драки моей с махистами [...] Вы должны понять и поймете, конечно, что раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и *вреде* известной проповеди, то он обязан выступить против нее» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 47, с. 150–151). Ленин и сделал это в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм», от работы над которой оторвался, чтобы приехать на Капри.

...А. А. Богданов... В. А. Базаров... крупные люди... — Богданов (псевд. Малиновского Александра Александровича, 1873–1928) — врач по образованию, философ, социолог, экономист. Социал-демократ с 1896 г. После II съезда примкнул к большевикам, избирался в члены ЦК РСДРП на III, IV, V съездах. В годы реакции и нового революционного подъема возглавлял отзовистов, был лидером антипартийной группы «Вперед». На Совещании расширенной редакции газеты «Пролетарий» в июне 1909 г. был выведен из рядов большевиков. С 1926 г. — директор основанного им Института переливания крови. Погиб, произведя на себе неудачный эксперимент. В интересующие нас годы Богданов попытался создать собственную философскую систему — «эмпириомонизм», явившуюся разновидностью субъективно-идеалистической махистской философии. Базаров (псевд. Руднева Владимира Александровича, 1874–1939) — публицист, экономист, философ, социал-демократ с 1896 г. В период революции 1905—07 гг. — участник ряда большевистских изданий.

С. 22. *Гоните ее прочь...* — В письме ученикам Каприйской школы от 17(30) августа 1909 г. Ленин писал: «Я был на о. Капри в апреле 1908 г. и объявил всем этим 3-м товарищам о безусловном расхождении с ними по философии...» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 47, с. 198). Речь о Богданове, Базарове и А. В. Луначарском, который в годы реакции входил в антипартийную группу «Вперед», а также отдал дань богостроительным идеям, предполагавшим возможность соединения марксизма с религией.

Жорес Жан (1859–1914) — профессор философии в Тулузе, на протяжении многих лет депутат парламента. В 1902 г. один из создателей реформистской Французской социалистической партии, которая затем слилась с Социалистической партией Франции и получила название Объединенной французской социалистической партии. В 1904 г. основал и до конца жизни редактировал орган партии газету «Юманите», позже ставшую центральным органом Французской коммунистической партии.

Был на Капри другой Ленин... — Во второй раз Ленин был на Капри с 18 по 30 июня (1—13 июля) 1910 г. — прожил у Горького почти две недели. Запись в дневнике К. П. Пятницкого от 18 июня: «К обеду приезжает Ленин... Возвращаюсь к чаю. Разговор между Лениным и Алексеем Максимовичем... Вернулся в 3 часа ночи: еще спорят». Вспоминая потом свои беседы с Лениным, Горький скажет, что с Лениным «можно было говорить так, как ни с кем иным, — он понимал то, что лежит за нашими словами, каковы бы они ни были» (*Ленин и Горький*, 336). В эту каприйскую встречу и у Ленина и у Горького настроение было иным, чем в предшествующую. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» подвела итог философским спорам с махистами. Позади была и Каприйская школа (см. «Михаил Вилонов»). Горький определил свое отношение к Богданову и всей фракционной группе, возглавляемой им, прояснилось оно и для Ленина. 3(16) ноября 1909 г., за полгода до новой встречи с Горьким, Ленин писал ему: «...После разговора с Михаилом (Вилоновым. — Г. П.) мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы...» (*Ленин и Горький*, 50). И уже совсем незадолго до нового свидания с Горьким, 14(27) марта 1910 г. Ленин — Вилонову: «С Горьким переписки нет. Слышали, что он разочаровался в Богданове и понял фальшь его поведения» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 47, с. 241).

...с живым и неутомимым интересом ко всему в мире... — Горький показывал Ленину достопримечательности Капри — гроты, развалины старинных дворцов и замков, возил в Неаполь — в Неаполитанский национальный музей (три года назад в Лондоне Ленин показывал Горькому Британский музей, где любил работать). Ленин и Горький поднимались на Везувий, были они и в Помпее. Показ сопровождался рассказом — Горький за четыре года досконально изучил принявшую его страну. «Удивительно рассказывал... — вспоминала М. Ф. Андреева, — умел двумя-тремя словами нарисовать пейзаж, обрисовать событие, человека. Это его свойство особенно восхищало Ленина... Мне кажется, что именно с того времени Ленин нежно полюбил Горького».

С. 24. *На Капри был Г. В. Плеханов...* — На Капри Плеханов был в июне — июле 1913 г.

Олигер Николай Фридрихович (1882–1919) — писатель, сотрудник

журнала «Современный мир» («Мир божий» — до 1906 г.) За участие в революционном движении в преддверии революции 1905—07 гг. был арестован и 1904—05 гг. провел в тюрьме. *Лоренц-Метнер* Александр Карлович (ум. 1918) — участник революционного движения, большевик. *Вигдорчик* Павел Абрамович, брат Н. А. Вигдорчика — нижегородского врача, одного из руководителей марксистских кружков Нижнего.

Ферри Энрико (1856–1929) — до 1909 г. член Итальянской социалистической партии, руководитель центристского большинства в ней, стремившегося подчинить пролетарские элементы элементам мелкобуржуазным в составе одной партии.

С. 26. *Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы»...* — Речь идет об «Апрельских тезисах» Ленина.

С. 27. *Стеклов* Владимир Андреевич (1864–1929) — математик, первый вице-президент Академии наук — председатель Ассоциации. *Чугаев* Лев Александрович (1873–1922) — химик. *Ферсман* Александр Евгеньевич (1883–1945) — геолог и минералог. *Костычев* Сергей Павлович (1877–1931) — биохимик. *Петровский* Алексей Алексеевич (1873–1942) — крупнейший специалист в области электротехники и радиотехники.

Деятельно собирались средства... — Горький был одним из двух товарищей председателя Ассоциации.

С. 31. *Вы думаете, Учредилка справилась бы...?* — Учредительное собрание открылось в Петрограде 5 (18) января 1918 г., а 6 января декретом ВЦИК было распущено.

С. 33. *На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал...* — На VIII съезде РКП (б), состоявшемся 18–23 марта 1919 г., была принята новая программа партии, разработанная Лениным. При обсуждении программы серьезные разногласия вызвал национальный вопрос. Бухарин выступил против признания за нацией права на самоопределение.

Цитирую по отчету «Известий»... — Приведена цитата из газеты «Северная коммуна» (Петроград, 1919, 22 марта).

С. 36. *...надо, чтоб это разобрал Дзержинский...* — С. Ф. Э.

Дзержинским, председателем ВЧК, Горький был хорошо знаком. В начале 1910 г. Дзержинский приезжал на Капри лечиться, жил недалеко от Горького и все три недели, что провел там, постоянно виделся с Горьким.

С. 37. ...до логики одного из героев Л. Андреева. — Героя «Тьмы».

С. 38. Старый знакомый мой, А. К. Скороходов... — Скороходов Александр Кастанович (1882–1919), сормовский рабочий, первый председатель Петроградского районного Совета, возглавлял Петроградскую ЧК. В 1919 г. расстрелян в Харькове белогвардейцами.

С. 39–40. ...в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена... — Ленин был у Горького и Пешковой в Машковом пер. (ныне ул. Чаплыгина) 20 октября 1920 г. Пешкова Екатерина Павловна (1876–1965) — жена Горького. С Горьким познакомилась в Самаре, когда он работал там в «Самарской газете». В 1896 г., выйдя за Горького замуж, с ним переехала в Нижний. В 1906 г. с сыном Максимом уехала за границу, жила в Женеве, под Парижем, работала в эмигрантской кассе, в «Кружке помощи каторге и ссылке», созданном В. Н. Фигнер. В 1914 г. вернулась в Россию. В 1920–37 гг. председательствовала в польском «Красном Кресте». После смерти Горького помогала создавать литературно-мемориальные музеи Горького в Москве и других городах, работала консультантом Архива А. М. Горького.

С. 41. Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны. — Сказано Лениным о Л. Б. Красине.

...одним большевиком, бывшим артиллеристом... — Имеется в виду Игнатьев Александр Михайлович (1879–1936), в период революции 1905–07 гг. входил в Боевую техническую группу при ЦК РСДРП, старый друг Горького.

С. 43. ...что-то... нехорошее, от Лассалья... — Лассаль Фердинанд (1825–1864) — родоначальник одного из оппортунистических течений в немецком рабочем движении — лассальянства. Взгляды лассальянцев были подвергнуты резкой критике со стороны К. Маркса. Ф. Энгельс отмечал также черты демагога в характере самого Лассалья.

...по делам «Всемирной литературы»... — «Всемирная литература» —

издательство, созданное Горьким в 1918 г. совместно с А. Н. Тихоновым, З. И. Гржебиным, И. П. Ладыжниковым. Предполагалось выпускать на русском языке произведения писателей Европы, Америки и Востока со времен Французской буржуазной революции и вплоть до Октябрьской социалистической революции. Работой издательства до отъезда за границу осенью 1921 г. руководил Горький.

...заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку. — Г. А. Алексинский, примыкавший к большевикам в 1905—07 гг., в прошлом депутат II Государственной думы от рабочих Петербурга, в июле 1917 г. сфабриковал совместно с военной контрразведкой фальшивки и выступил против большевиков с клеветническими обвинениями. После Октябрьской революции скрылся за границей. В 1920 г. Верховный революционный трибунал ВЦИК судил его заочно по делу контрреволюционной организации «Тактический центр». Алексинский был лишен права въезда в Советскую Россию.

С. 44. *А вот негодяя Малиновского...* — Малиновский Р. В. оказался провокатором, сотрудником московского охранного отделения. В 1912 г. на Пражской конференции РСДРП был избран членом ЦК, прошел в депутаты IV Государственной думы от рабочих Московской губернии. В 1914 г. скрылся за границу. В 1918 г. приехал в Советскую Россию и по приговору Верховного трибунала ВЦИК был расстрелян.

...мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно... — Это ощущение Горького подтвердила Крупская в письме к нему, заметив, что с ним «Ильич говорил о себе больше, чем с кем-либо». Крупская высоко оценила очерк Горького о Ленине. В конце 1930 г., работая над своими воспоминаниями о Ленине, Крупская писала Горькому: «Сегодня получила Ваши воспоминания об Ильиче — хорошие. Живой у Вас Ильич. О Лондонском съезде очень хорошо. Правда всё. Каждая фраза Ваших воспоминаний вызывает ряд аналогичных. И потом Вы любили Ильича. Кто не любил, тот не мог бы так написать. Живой весь Ильич».

...работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых» — Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ) была создана в конце 1919 г. по инициативе Ленина и Красина. В январе 1920 г. Горький стал председателем Петрокубу (Петроградской комиссии). Совместная работа Горького и Халатова Артемия Багратовича (1896–1938) началась в

1921 г., когда Халатов был назначен председателем ЦЕКУБУ, которой и подчинялась Петрокубу.

...считаю совершенно необходимым организацию литвуза... — В 1933 г. по постановлению ЦИК СССР был основан Литературный институт имени А. М. Горького.

С. 45. *Талантлив? Даже очень?* — В. В. Маяковский печатался в журнале «Летопись», издававшемся Горьким в 1915—18 гг. в Петрограде.

Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

Очерк, написанный в 1911 г., приурочен к двум датам — столетию Общества любителей российской словесности, на юбилейном заседании которого и был прочитан, и двадцатилетию со дня смерти Николая Елпидифоровича *Петропавловского* (Каронин — псевд.), исполнявшемуся в 1912 г. Впервые напечатан в журнале «Современник» — 1911 г., октябрь — под названием «Писатель». В переработанном и дополненном виде вошел в кн.: *Горький М. Воспоминания*. Берлин, «Книга», 1923.

Осенью 89 года я пришел из Царицыпа в Нижний, с письмом к Николаю Елпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей — кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком; также мельком видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек — в трезвом виде — чудаковатый, а выпивши, шумно изъяснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине ее, в глубокой, черной борисоглебской грязи, барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

— Вот, видите? — поучительно сказал Василий Яковлевич. — Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идем равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:

— Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошел я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и мое представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимую силою сопротивления врагам справедливости, и, хотя враги усердно вымораживают ему душу, она неистощимо пламенна и — «донде-же есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением — я читал почти все написанное им, и только что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия»^[4].

И вот я, с трепетом в душе, — как верующий пред исповедью, — тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая, черная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришел, откуда, зачем, и ушла, крикнув через плечо свое:

— Николай, выдь сюда...

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую йогу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, — на ворота рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях и тоже не лучше моих, длинные волосы растрепаны так же, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые, и мне кажется, что они видят все, что я думаю, знают все, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы я молча киваю головой, говорю «да», «нет», но мне все приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы — тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дергая ее книзу, — точно он все время растет; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста — а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он — топкий, худой, несколько сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нем есть что-то детское, приятно неуклюжее, я чувствую, что мое смущение замечено им и, в свою очередь, смущает его.

— Ну, идите сюда, шагайте, — приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его больным, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в пей нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

— В'от — пишу тут, надо — скоро, а там жена и С'аша — собираются уезжать и с'уматоха, знаете...

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю Комнату была не прикрыта, там черноволосая женщина, с лицом цыганки, гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и груде толстых книг, а другой на спинке стула.

— Скоро? — строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

— Ах, ты не один! — сказала она.

— Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, — предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

— Хотите, значит, сесть н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и, усмехаясь, заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить начистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну, а пишет, чтоб я отговорил... А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я

сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — идти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты... И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно идти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около пего вам будет еще хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил — не лучше ли мне зайти в другой раз?

— Почему? — встрепенулся Каронин. — Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленное:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму...

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на исписанный лист:

— «Общество имеет свои отрицательные стороны, — да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и — когда все это надоест — ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое свое чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений», — это говорит один барин в моей повести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провел рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие и в том числе мой герой, — я его не выдумал, это живой, современный, преувеличенный человек — зрелище очень печальное, — он сам каялся мне. Вот, — и, снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не возводить в подвиг и заслугу». Вот о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посередине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К'колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукой и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

— Маненков с'ообщает, что вы пишете стихи, покажите — можно? — спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал еще несколько легких ударов полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было ее и весело, что она оказалась такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал ее Н. Е., желая еще раз посмеяться над моими зловключениями и ожидая, что он тоже посмеется.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

— А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко — на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: «Грозно реют огненные крылья...»

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— П'рочитайте, у него лучше...

И почти шепотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Станный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

— Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:

*Кто по земле ползет, шипя на все змею,
Тот видит сор один. И только для орла,
Парящего легко и вольно над землею,
Вся даль безбрежная светла.*

Это Апухтин написал Толстому — красиво? И — верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всем говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие

ему.

И уговаривал:

— Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, все читайте! Найдите себе работу и — читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушел, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и черную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошел и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и наконец приветливо воскликнул:

— Это вы, к-колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживленно, помахивая шляпою в свое лицо, с красными пятнами на щеках.

— Я тут часто бываю по утрам — изумительно красивое место, а? Вот — не умею описывать природу — это несчастье! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то — сухо, неискусно.

Заглянул вниз и продолжал:

— Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но — боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто да еще побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон — смотрите, молится один. Странная фигура. Он, должно быть, или так был пьян, что еще не выспался, или убежденный западник, — видите: молится на Балахну, на запад?

— Он сам балахнинскпй, — сказал я.

— Вы его знаете? — живо спросил Каропин, придвигаясь ко мне. — Расскажите — кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами, и все время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз,

возбужденный чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

— Ну, это уж романтизм!

— Однако вы, барин, романтик!

Меня его веселые попреки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком — весьма непохвально.

— Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, — заметил я.

Он задумчиво сказал:

— Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичок долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришел я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: «Как же это, Федор Васильич, а?» А он: «Да, видишь ты, Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики вроде вас, барин. А то еще знал я бузулукского мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казенные деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: «Зачем же ты, брат, оболгал сам себя?» — «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и — готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шелковые, на солнце, луга.

— Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах-судоходцах — какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ — хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Все это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошелся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

— Вот — сзади пас семинария, немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий, — почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом,

и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и — что еще того хуже — не хотим знать ее, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонии, прячемся в хаты с краю...

И с великой печалью он заговорил о сложной болезни того времени — я не помню точно его слов, по, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и все оглядывался, словно не желая, чтобы, кроме меня, его слова слышал еще кто-нибудь. Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

— Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но — почему, подумайте, почему у пас люди так легко п’огибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбился с пути». Смотрите — это невольно сказалось: жил, и — ничего! Может быть, именно потому вот, что жил и — ничего! — все ходят как будто по скользкому месту; идет — пошатнулся — упал, и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память — я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

— Часов шесть уже, да? Мне — пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошел по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго — до смешного строго — спросил:

— Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Развожу баварский квас.

— То есть как это, куда развозите?

— По лавкам, по домам...

Он подумал и сказал, усмехаясь:

— Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну — до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во

время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал по поводу «Красного цветка»:

— Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде Евангелия, книгу ко всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших и маленьких писателей, и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев — вот что не забудьте, это очень важно! Русская литература — особенная, это, так сказать, священное писание, и читать ее надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

— Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!

Однажды я пришел к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучпой комнате; полуодетый, растрепанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

— Температура скачет в гору, — объяснил он, — утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

— Вы читали Кущевского? — спрашивал он. — Нет? Непременно прочитайте «Николая Негорева» — хорошая вещь! Вы о нем слышали, о Кущевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталом, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.

— Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нем пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, — говорил он фельдшеру, — вы лучше дайте мне водки, свечу и бумаги. Жить я не буду все равно, но — мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом — дайте мне свечку. Днем писать запрещено и мешают, значит — надо писать ночью, а без свечки — темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казенную свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он — плакал! И все-таки — написал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе, — Оверин, которому земля, вся земля — кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги, и, когда перевертывает

страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, — мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю как живое и враждебное ему существо, я уверен, что только русский. Эх, знаете, сколько в России талантливых людей и как они страшно живут! Вот — посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиной к стене, и стал читать рассказ Куцевского «Самоубийца». До этой поры — а пожалуй, и с той поры до сего дня — я не слышал такого чтения: легкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчеркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозой не давать паспорта и — сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький, русоволосый человек», писавший свои рассказы, волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пересыльную тюрьму.

«Пропутешествовав несколько сот верст в ручных кандалах, он очутился перед грозными очами отца, который не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном взносе оброка...

— На коленях просил я его, — рассказывал Агафонов, — не сечь меня; потом просил высечь да опять в город отпустить. Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на березу залез и розги режет. Отец все говорит: «Покажу тебе пьянствовать». А у меня сердце так и бьется; гляжу в окно — розги режут... Пришли. Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и... Я хотел тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня пятнадцать рублей в месяц и опять отпустить в Петербург. А что, если он меня потребует и опять поведут меня в кандалах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали... И опять сечь... я этого не снесу... Вы — дворянин... как хорошо быть дворянином! Но вы — голытьба, вы наш... да!»

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец ему прислали «паспорт» — мужичок из родной деревни принес длинный сверток, а в нем пучок березовых розг и при этом письмо отца:

«Вот тебе паспорт». И угроза — если «подателю не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытребует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его

спине»^[5].

Агафонов повесился.

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лег.

Я спросил — правда это или выдуманно?

— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник ее, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым; настоящая фамилия этого несчастного — не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил еще вчера, да вот эта головная боль — от нее и свою фамилию забудешь...

— Не уйти ли мне? — предложил я.

— Ну, вот еще! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвертый день, кроме мух, ничего живого не вижу...

— Все они — Куцевский, Воронов, Левитов и множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили так — насмерть — причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и другие хаты с краю по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую глубину явления — кабаки ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен». Это — чугунные слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом — всей нации, всему обществу упрек брошен, упрек заслуженный. Но если умирали оттого, что были честны, ведь и пить могли оттого же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей, — не уготовано? Общество категорически отвечает: «Не имеешь ты этого права!» Само оно, однако, всегда напоминает поведением своим псалом «Векую шаташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до пего не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и, вздохнув, сказал:

— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность трудненькая. Вот когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя-

разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по-русски: возможное — невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова тяжело опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лег, он, видимо, сильно болен, Н. Е., усмехнувшись, ответил:

— Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстолец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной, — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастью оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии — человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете Казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друг в друга цитатами из Евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антиномии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеваясь крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неумолимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я все ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперед и убеждающим голосом скажет: «Довольно!»

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».

Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то из них спросил:

— Что — все еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомиластики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник.

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушел, не простясь с хозяином квартиры, а я и еще кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду, и тихонько говорил:

— У Слепцова умный его Рязанов говорит: «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть», — вот и этот франт всю жизнь так осветил, что мне на нее стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался все-таки, что «это и не жизнь, а так, черт знает что, дребедень какая-то», — пройдет года два-три, и франт тоже увидит, что он выдумал дребедень и черт знает что. А может, и не скажет, он — самолюбив; не скажет, а просто пулю в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру напоказ, уж это наверняка^[6].

— Положительно, в нем есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, — говорил Каронин медленно и как бы думая о чем-то другом. — Жена моя слушает его и все толкает меня в бок, шепчет: «Вот, напиши о нем рассказ». Написать — можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под

чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «Вера — это любовь, распространенная на весь мир»? Слова непродуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя — созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

— А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подействовала?

Да, я был угнетен всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

— Милости прошу! — сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

— Поехали Андроны на немазанных колесах!

А потом стал отечески убеждать:

— Ну зачем вам? Это после, на досуге почитаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтете Хемницерову басню «Метафизик», — в ней все ясно. Да и всем нам — рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия — сводка всех знаний о жизни, а мы с вами что знаем? Одно только: вот явится сейчас городской и отведет в участок. Отведет и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии...

Он шагал по комнате длинными шагами, веселый, шутливый, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась мягкая радость.

— Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить — вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим — по-самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но — произведем самоеда от сам себя ест. Это будет верно: наш девиз не «Познай самого себя», а пожри самого себя. Жрем. Возьмите немца: у него философия — итог знаний и действий, а у нас она понимается как план жизни, расписание на завтрашний день. Это — не годится, понимаете? Нет, вы лучше займитесь-ка делом, вон у вас впереди солдатчина — ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив — я возлагаю на нее большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я...

— Здравствуйте! — сказал он, остановись против меня и поклонившись. — Экая сумятица у вас в голове: колонии, Памиры, изучение философии — замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог... Или— уж лучше идите в колонию, вот, например, в симбирскую...

Пришел какой-то ражий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, — Николай Ельпидифорович засиял, заметался и стал похож на ребенка, не знающего, что ему делать от радости: вместо того, чтобы освободить один из стульев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его.

Знакомство с ним — одно из самых значительных впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, — силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей-«народников», зараженных славянофильской мистикой и, казалось бы, чуждым для них настроением «кающихся дворян». Впрочем, эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней» — между полудиким правительством и чудовищно огромной, одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

— Надо все-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин...

Поднял палец и, несколько смущенно, прочитал «стишок»:

*Есть — мужик и — мужик,
Если он не пропьет урожая,
Я тогда мужика уважаю.*

— Мужика надо еще сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел, и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать» он сказал угрюмо:

— Эх, замотаются люди на этих поисках места в жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал, ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль взаем.

В один из таких дней я увидел его на балчуге, он продавал старьевщику кожаный пояс и жилет. Сгорбясь, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубашке, и убедительно говорил:

— Но послушайте, почтенный, — что же я буду делать с семнадцатью копейками?

— А уж этого я не знаю...

— На семнадцать копеек не проживешь день...

— Живут и дешевле, — равнодушно сказал жулик. Каронин, подумав, согласился:

— Верно, — живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак:

— А я вот продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть...

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь, да казалось мне, что он и не замечает, как живет, весь поглощенный исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить, — чаще говорил работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили — народ.

— «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы», — прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабанив пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

— Конечно. Ну конечно! А иначе — куда? На что мы? Встал со стула, оглянулся.

— Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки

негодая. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню «учить народ», а теперь зябнет в Сибири.

Рассказав это, он грустно добавил:

— Жертва. Тяжело ей. Я знаю, — тяжело! Но — другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он посоветовал:

— Вы — странная натура. Все у вас угловато и как-то отвлеченно. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают...

Его интерес к «боснякам» возрастал, раза три я видел Каронина в трущобах Миллионной улицы, и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

— Резкий народ, — говорил он. — Очень интересные типы есть. Конечно — отработанный пар, но все-таки некоторые — думают... А это уже — кое-что...

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе, и эта напряженная, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Все лихорадочнее горели его глаза, суше звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

— Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить.

Комментарии

С. 46. *Осенью 89 года я пришел из Царицына в Нижний...* — Горький пришел в Нижний Новгород весной 1889 г., путь его от Царицына до Нижнего лежал через Борисоглебск — Тамбов — Рязань — Гулу — Москву. Маршрут определялся тем, что Горький пытался увидеть Толстого. Не застав его в Ясной Поляне, он отправился в Москву, в Хамовники, и, очевидно, был там трижды. В первый раз не застал Толстого. Во второй раз не был принят: Толстому нездоровилось, в третий, исчерпав иные возможности, принес и передал Толстому письмо. Есть предположение, что Софья Андреевна не хотела пустить к Толстому настойчивого юношу, одного из многих, искавших у Толстого света истины, — «темных», как она их называла.

...с письмом... от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. — С Василием Яковлевичем Старостиным-Маненковым (ум. 1896) Горький познакомился в Борисоглебске, где Старостин служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской ж. д., а Горький на той же дороге — сторожем. Отношение Горького к Старостину определялось в значительной мере отношением Горького к народничеству, которое тот представлял. Старостин входил в нелегальный кружок, организованный так называемыми ададуровцами. М. Е. Ададуров, возглавлявший товарный отдел Грязе-Царицынской ж. д., стремясь сократить хищения грузов, принявшие огромные размеры, собрал на линии до шестидесяти интеллигентов, все более неблагонадежных — исключенных студентов, семинаристов, бывших офицеров и т. д. Ададуровцы предполагали даже издавать газету и прочили в редакторы Каронина. Он приезжал для переговоров в Борисоглебск. Однако получить разрешение на газету не удалось.

Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве... — В январе 1889 г. Горький был переведен из Борисоглебска на станцию Крутая (в 12 верстах от Царицына). И здесь ададуровцы, как всюду на дороге, жили в атмосфере скрытой и явной непаவிости к ним старых служак, которым они мешали мошенничать. Горький не принадлежал к ададуровцам, но тяготел к ним. Неприязнь к

«политикам, из тех, которых вешают», распространилась и на Горького, его начали травить, им стала живо интересоваться сыскная полиция. В итоге начальник станции З. Е. Басаргин посоветовал ему уйти с Крутой. Горький и сорок лет спустя считал, что то был «один из тяжелых моментов» его жизни: «Мне нужно было куда-то идти, что-то делать, но — «Куда пойдешь? Кому скажешь?» Я избрал самую отдаленную, но и самую яркую точку — Льва Толстого» (Арх. Г., XII, 200).

...и мечтал об устройстве земледельческой колонии... — 25 апреля 1889 г. Горький писал Толстому: «...несколько человек, служащих на Г.-Ц. ж. д., — в том числе и пишущий к Вам, — увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством...» От имени друзей Горький просил дать им кусок земли — «у Вас много земли, к[ото]рая, говорят, не обрабатывается». Будущие колонисты рассчитывали и на моральную поддержку Толстого. Горький предлагал прийти к Толстому — «двое или один из нас», «если Вам угодно ближе познакомиться с ними...» (Г-30, 28, 5–6). Приглашения не последовало, неизвестно, ответил ли Толстой Горькому, во всяком случае, ответ мог быть только в отрицательном смысле, поскольку Толстой как раз в это время пришел к мысли, что удаление в общину от общества — грех, ошибка. Рекомендательное письмо к Каронину было дано Старостинным на случай неудачи Горького у Толстого, им Горький и воспользовался.

...и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком... — Чириков Евгений Николаевич (1864–1932) — беллетрист, позже много печатавшийся у Горького в «Знании». Чириков был одним из ададуровцев.

...также, мельком видел я в Казани и Каронина. — После возвращения из сибирской ссылки Каронин жил в Казани под строгим надзором полиции.

С. 47. *...с рассказом «Мой мир»...* — Рассказ впервые напечатан: журнал «Русская мысль», 1888, №№ 2–4.

Высокая черная женщина... — Гражданская жена Петропавловского В. М. Линькова. Была сестрой милосердия во время русско-турецкой войны 1877—78 гг., училась на акушерских курсах при Медико-хирургической академии.

С. 48. *Двое телеграфистов, я и девушка...* — Речь идет о Дмитрие Юрине (1864–1894), «технике из крестьян», телеграфисте станции Крутая, Ярославцеве Иване Владимировиче (1869–1895), телеграфисте станции Кривая Музга, а также Марии Захаровне Басаргиной, дочери начальника станции Крутая.

С. 49. *...описываю историю одной колонии...* — повесть «Борская колония» вышла в журнале «Русская мысль», 1890, №№ 4,6.

С. 50. *А ведь могли быть изувечены...* — Не исключено, что Горький рассказал Каронину эпизод в ночлежке на Сухаревке, который окончился тем, что Горький был избит и без сознания брошен под насыпь железнодорожного пути. Эпизод описан им в автобиографическом рассказе «Сторож».

...Тютчева читали? — Ф. И. Тютчев писал: «Одни зарницы огневые, || Воспламеняясь чередой, || Как демоны глухонемые, || Ведут беседу меж собой» («Ночное небо так угрюмо...»).

С. 51. *...Апухтин написал Толстому...* Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893). Стихотворение называлось: «Графу Л. Н. Толстому».

...около Георгиевской башни... — Имеется в виду Георгиевская башня Нижегородского кремля.

С. 52. *Он сам балахнинский...* — Балахнинский уезд примыкал к Нижнему Новгороду с запада.

С. 53. *...в рассказе «На границе человека»* — Рассказ 1889 г.

С. 54. *...говоря о Гаршине...* — В. М. Гаршин всего годом ранее, в марте 1888 г., покончил с собой, бросившись в пролет лестницы. В 1889 г., к годовщине смерти Гаршина, был издан сборник в память о нем — «Красный цветок», названный так по одноименному рассказу Гаршина, опубликованному впервые в 1883 г. в «Отечественных записках», — о безумце, пожертвовавшем жизнью в надежде разом истребить все зло мира, которое сосредоточилось для него в «красном цветке».

С. 55. *Вы читали Кушневского?* — Непременно прочитайте «Николая

Негорева»... — Куцевский Иван Афанасьевич (1847–1876). Полное название романа: «Николай Негорев, или Благополучный россиянин».

С. 56. ...стихотворец Кроль... — Кроль Николай Иванович (1823–1871) печатался в журнале «Русское слово».

С. 57. «Я умираю оттого, что был я честен»... — Строки из стихотворения Н. А. Добролюбова «Милый друг, я умираю оттого, что был я честен...».

...и, может быть, напишет историю русского писателя-разночинца. — В 1930 г. Горький будет рекомендовать А. К. Воронену выпустить в Госиздате «Историю разночинца», как она отложилась в художественной литературе. План предусматривали автобиографические произведения. Начать предполагалось с петрашевцев. Должен был войти сюда и «Николай Негорев» Куцевского.

С. 59. Как в семинарии на уроке гомилетики. — На уроках гомилетики семинаристов обучали методике составления проповедей. Каронин учился в Самарской семинарии, из которой ушел в 1871 г., примкнув к народникам.

У Слепцова умный его Рязанов говорит... — Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878). В письме Д. Н. Овсяннику-Куликовскому в феврале 1912 г. Горький напомним о Слепцове как о фигуре, мимо которой нельзя пройти, рассматривая историю русской интеллигенции, и в подтверждение своей мысли сошлется на Чехова, который говорил, что Слепцов научил его более чем многие другие понимать русского интеллигента и самого себя. Рязанов — герой повести Слепцова «Трудное время». В статье «О Василии Слепцове» (1922) Горький назовет Рязанова родным братом Базарова, с той, однако, оговоркой, что Рязанов, с его точки зрения, был естественнее, чем герой Тургенева, и жизнь знал лучше, чем он.

С. 59–60.... ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, дневник... — Имеется в виду: Ильин Н. Дневник толстовца. М., 1892.

С. 60. ...Гартмана в изложении Козлова... Речь идет о книге Гартмана «Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного доктора философии Эдуарда фон Гартмана» (Изложение А. А. Козлова. Вып. 1–2.

М., 1873, 1875). Гартман рассматривал весь мировой процесс как результат деятельности некой мистической стихии, названной им «бессознательное». С этой точки зрения вся деятельность человека оказывалась иллюзорной. Позже Горький скажет, что «основной и главной темой литературы XIX века являлось пессимистическое сознание личностью непрочности ее социального бытия» и что Шопенгауэр и Гартман, как и другие, «укрепляли это сознание проповедью космической бессмысленности жизни...» (Г-30, 27, 216–217).

...для знакомства с философией... Хемницерову басню «Метафизик»...
— Суть басни в пересказе Горького: «Некий молодой человек, гуляя в поле и размышляя «о начале всех начал», свалился в яму, откуда своими силами вылезти не мог. Ему бросили веревку, но он тотчас же поставил вопрос: «Веревка — что такое?» Ему сказали, что философствовать о веревке как «вещи в себе» — не время, — вылезай. Но он спросил: «А время — что?» Тогда его оставили в яме, где он и по сей день рассуждает: необходима ли вселенная, и если необходима, то — зачем?» (Г-30, 26, 409–410).

...вот явится сейчас городской и отведет в участок. Отведет и не скажет даже — за что?.. — Каронин был арестован в первый раз в 1874 г., провел три с половиной года в одиночном заключении, шел по «Процессу 193-х», после чего был оправдан. В 1879 г. арестован снова и приговорен к двум годам тюрьмы, после чего в 1881 г. сослан на пять лет в Сибирь.

...один из главных проповедников «толстовства», М. Новоселов, начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении». — Новоселов Михаил Александрович (р. 1864) был организатором толстовской земледельческой колонии в Тверской губернии. В 1887 г. при аресте у него были обнаружены экземпляры гектографированного издания статьи Толстого «Николай Палкин», предназначенной для распространения. В 1901 г. в связи с отлучением Толстого от церкви он опубликовал в журнале «Миссионерское обозрение» «Открытое письмо графу Толстому от бывшего его единомышленника по поводу ответа на постановление Святейшего синода».

С. 62. *...пришлось жить «между молотом и наковальней»* — так назывался популярный в России роман Фридриха Шпильгагена, в русском переводе вышел в 1869 г.

Есть — мужик и — мужик... — Строки из поэмы «Поток-Богатырь» (1873) А. К. Толстого.

С. 63. *...весь поглощенный исканием «правды-справедливости»...* — Выражение принадлежит Н. К. Михайловскому.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер. — Каронин прожил в Нижнем Новгороде с октября 1887 г. по июнь 1889 г., затем перебрался в Саратов, где и скончался от туберкулеза горла на 39-м году жизни — 12 мая 1892 г.

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

Написано вскоре после смерти В. Г. Короленко (р. 1853), последовавшей 25 декабря 1921 г., и мыслилось Горьким как часть более широкого — не осуществившегося — плана. Горький предполагал написать книгу «Среди интеллигенции», которая явилась бы продолжением его автобиографии. Впервые напечатано как единое целое со следующим очерком наст. сб. «В. Г. Короленко» под общим заглавием «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний» в журнале «Летопись революции», 1923, № 1.

...Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станциям, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душой, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, во несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечешко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого разыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий, сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно.

На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо сложенного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской

губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолобца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный, широко образованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое — из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрипывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

*Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то... —*

он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиной его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебаstra весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани, — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с богом... Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный, сидел в нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которыеравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годеи!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весной должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервный, он очень искусно писал маслом маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шепота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте

пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайних песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путано и трудно. Я работал в складе пива, перекачивал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгучее холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне года два тому назад некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — негромко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у пего, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких. ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, по я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, по у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так...» Раз — так, — не годится. Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем но похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человеческие слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о пей.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Черта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали черт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все написанное в поэме я пережил...

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был П. П. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так: — Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в

скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем, — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. — кажется, А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влиятельный среди молодежи. — Оп-писание физиологического акта рождения — дело специальной литературы, и тараканы тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые

чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, — В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержащую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутиливо наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», — таковой в то время считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым философам» примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племян, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян, — слышал?^[7]

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синяя, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с пим в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг, — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86–96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, говорит, книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров». Я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек

человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, — прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: будет дурить! Выпустили из острога, я сейчас к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», — говорю. «Очень хорошо, — говорит, — вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хотя мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты», — ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городских и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору У тину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков.

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие, и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весной 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной

стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красному кресту», — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе», — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89–90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

— «Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало романы Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилён, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверьячую жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, — в этом

кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эвристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины, или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, — относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унижительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одуряющий яд книг уже не насыщал

меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечтались. Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь, и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, не доступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые

папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табунах студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуясь юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, топом старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал, — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурился, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натуре, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь складывается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, — сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайтесь больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого.

Но — Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадёжного, казалось, дела, — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накапливаясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, — разошлись...

Комментарии

С. 64. *Вышел я из Царицына в мае...* — Из Царицына Горький вышел в марте — апреле (начало) 1889 г.

София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. — Это был первый приход Горького в Хамовники. Он, видимо, относится ко времени между 22 марта и 8 апреля 1889 г., когда Толстой гостил у севастопольского товарища своего князя С. С. Урусова в селе Спасском, близ Троице-Сергиевской лавры. За ним последовали два других. См. в наст. сб.: «Н. Е. Каронин-Петропавловский», примеч. к с. 46.

Был конец сентября... — Горький уехал из Москвы в конце апреля 1889 г.

С. 65. *...правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взиграет честная, чистая, веселая жизнь...* — Поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба» лежала в котомке Горького и тогда, когда он приходил к Толстому сначала в Ясную Поляну, затем трижды, в Хамовники, и, несомненно, с нею были связаны определенные надежды, когда он так настойчиво стремился встретиться с Толстым.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней... — Каронин жил в Казани с лета 1886 г. до марта 1887 г. Горький в этот период работает в булочной А. С. Деренкова, доходы от которой шли в пользу революционно настроенной молодежи. В Казань Горький приехал из Нижнего, видимо, в конце лета или начале осени 1884 г. — в надежде поступить в Казанский университет. У Деренкова была библиотека редких и запрещенных книг, которыми пользовались студенты многочисленных учебных заведений города. К тому же Деренков охотно предоставлял свою квартиру для шумных студенческих сборищ. В Казани Горький, по его словам, познакомился со всеми казанскими народническими кружками.

...хозяина квартиры С. Г. Сомова. — С Сомовым Сергеем Григорьевичем (р. 1842) Горький познакомился в феврале — марте 1888 г. Сомов незадолго до того вернулся из ссылки из Ялуторовска, где был

вместе с Карониным. Н. С. Лесков изобразил Сомова в рассказе «Шерамур», а П. Д. Боборыкин — под именем Ломова в романе «Солидные добродетели». Кружок Сомова не был ортодоксально народническим, сам Сомов тяготел к марксизму. Как и во всех народнических кружках Казани, здесь читался Томас Карлейль — «Герои и героическое в истории», о роли личности в истории. Но упор делался на естественные науки, в почете были «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова.

С. 67. ...в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов... издания «Пантеон литературы»... — Орлов Александр Иванович (1837–1913) переводил «Оперетты морали» и «На свадьбу моей сестры Паолины» Джакомо Леопарди, Гюстава Флобера — «Искушения св. Антония». Журнал «Пантеон литературы», выходивший в Петербурге с 1888 г., постоянно печатал собрания сочинений главным образом иностранных авторов. С Орловым Горький встретился в Москве в апреле 1889 г., когда пробыл здесь какое-то время, пытаясь увидеться с Толстым.

...в Нижнем живет В. Г. Короленко. — Короленко поселился в Нижнем Новгороде в январе 1885 г., вернувшись из сибирской ссылки, и прожил здесь до начала 1896 г.

Меня арестовали... — Горький был арестован в ночь с 12 на 13 октября 1889 г. на квартире казанского знакомого А. В. Чекина, где жили «на коммунальных началах» Горький, Чекин, а также перебравшийся сюда из Казани С. Г. Сомов. Верхние и нижние комнаты квартиры соединялись люком. Горький при приближении жандармов, наскоро почистив квартиру, выпрыгнул со второго этажа в соседний сад, а затем через некоторое время вернулся домой, как бы ничего не зная о визите. Так легче было объяснить беспорядок в комнатах, сразу бросавшийся в глаза. Жандармы посчитали, что Сомов, которым они главным образом интересовались, поспешно скрылся, предупрежденный кем-то о предстоящем обыске. И Горькому было предъявлено обвинение в его укрывательстве. В действительности Сомов уехал еще раньше в Казань, поскольку выяснилось, что за квартирой установлено наблюдение.

С. 68. ...к самому генералу По анапскому... — И. Н. Познанский был начальником Нижегородского жандармского управления.

Сведенцов Иван Иванович (псевд. — Иванович, 1842–1901) — писатель-народник, в частности, автор книги очерков «По тюрьмам».

...особенно восторженно о Вере Фигнер... Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — член Исполкома «Народной воли». После гибели в 1881 г. Желябова, Перовской, разгрома Исполкома пыталась восстановить его. Проходила в 1884 г. по «Процессу 14-ти» и была приговорена к смерти, замененной ей заточением в Шлиссельбургской крепости, где она и пробыла до 1904 г. Позже написала историю своей жизни и борьбы — «Запечатленный труд» (1932).

Из книги речей А. Ф. Кони... — Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — автор известной книги «На жизненном пути». В данном случае имеется в виду его сборник «Судебные речи» (1888).

...я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом... — В апреле 1879 г. сын Познанского, гимназист, был найден мертвым. В отравлении его морфием подозревалась гувернантка, но в ходе судебного разбирательства под председательством Кони была оправдана.

С. 69. *...«Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».* — По воспоминаниям Чекина, Сомов в Нижнем занимался философией и писал работу «Электрическая теория социологии». «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова были настольной книгой для кружка Сомова еще в Казани.

...в память победы Нельсона под Абукиром... В Абукирской бухте Горацио Нельсон, командовавший средиземноморской флотилией англичан, уничтожил 2 августа 1798 г. французский флот.

...знаменитый Гальвани... — Гальвани Луиджи (1737–1798) — итальянский физиолог, основатель учения об электричестве, исследовал явления электричества в животном организме.

С. 70. *Лет через десять... я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении...* — Горького арестовали в ночь с 16 на 17 апреля 1901 г. и, как сообщалось в докладе департамента полиции, привлекли к расследованию по делу об устройстве демонстрации и недозволенных сборищ и изготовлении на гектографе, в сообществе с

другими, сборника тенденциозных произведений.

Дырявый, пробито легкое, насквозь! — 12 декабря 1887 г. Горький стрелялся на Феодоровском бугре, на берегу Казанки. Пуля прошла мимо сердца и пробила легкое. Этот трагический момент своей жизни Горький описал в рассказе «Случай из жизни Макара».

Участник боя под Кушкой. — Имеется в виду сражение у Кушки, на русско-афганской границе, происшедшее 18 марта 1885 г. и окончившееся поражением афганцев.

С. 71. Оказывается, — вы политически неблагонадежны... — 7 ноября 1889 г., после ареста Сомова, Горького освободили из тюрьмы, но отдали под надзор полиции.

Однажды, в тяжелый день... — Горький был у Короленко, очевидно, в декабре 1889-го — феврале 1890 гг.

С. 72 ...не о вас ли писал мне года два назад некто Ромась, Михайло Антонов?... — Ромась Михаил Антонович (1859–1920) — революционер-народник. За организацию кружка саморазвития рабочих в Киеве был арестован в 1879 г., выслан в Якутскую область, где познакомился с В. Г. Короленко. Вернувшись из Сибири, жил в Киеве, Орле, Казани. В Красновидове, в 45 верстах от Казани, Ромась открыл мелочную лавочку, имея истинной целью «будить разум деревни». По приглашению Ромасы Горький приехал в Красновидово 7–8 июня 1888 г. Горький должен был помогать Ромасю в лавочке. Ромась — помогать Горькому учиться. Встреча с Ромасем была очень важна для Горького, так как к Ромасю он попал сразу после того, как неудачно стрелялся. Вспоминая первый же день своего пребывания в Красновидове, Горький много позже писал: «Долго, до полуночи, беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым перед кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, — выпрямил меня. Незабвенный день» (ИСС, 16, 92).

...а потом подожгли, — да? — Ромась пытался организовать артель

садовладельцев. Кроме того, продавал товар в лавке дешевле других лавочников. В августе — сентябре 1888 г. мужики подожгли лавку Ромаса, и он покинул Красновидово. Горький уехал на Каспий, а по окончании путины подался в Моздокские степи и к концу года был в Царицыне, откуда М. Я. Началов, приятель Сомова, служивший в управлении Царицынской ж. д., направил его на станцию Добринка сторожем.

С. 73. *Дрягин Николай Ионович (1865–1905) — член кружка Н. Ф. Анненского.*

С. 74. *...кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда... — Барыкова Анна Павловна (1839–1893) — поэтесса, переводчица, печаталась в «Отечественных записках», в «Русском богатстве». Лихачев Владимир Сергеевич (1849–1910) — поэт, переводчик. В 1889 г. вышла его книга «За двадцать лет. Сочинения и переводы». Коппэ Франсуа (1842–1908) — французский поэт. Ришпэн Жан (1849–1926) — французский писатель, Гуд Томас (1799–1845) — английский поэт, автор «Песни о рубашке». Позже Горький отозвался о Коппэ как апологете мелких чувств и будничной жизни, а о Ришпэне — как грубом материалисте и скептике.*

...солидные люди... дважды в неделю беседовали со мною... — В ноябре 1889 г. Горький переехал в семью В. И. Кларка, бывшего казанского студента, знакомого по собраниям у Деренкова. Кларк был выслан в Нижний после студенческих волнений в Казани. Квартира Кларков служила явочным пунктом для опальной интеллигенции, приезжавшей в Нижний Новгород.

С. 74–75. *...писателем, наиболее любезным для этой среды, был Н. Н. Златовратский... — Златовратский Николай Николаевич (1845–1911) — писатель-народник. В своих произведениях («Устои», «Крестьяне-присяжные») стремился подчеркнуть в деревне вековые устои «любовного и сердечного общежития». С Златовратским Горький встречался весной 1889 г. на квартире нечаевца Орлова. «Обманщиком» называл его острый, скептический Орлов. «Сладкогласным «обманщиком» назовет его Горький.*

С. 75. *Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме... В почете был Мамин-Сибиряк... — Позже, в статье «О том, как я учился писать», Горький скажет, что в ту пору, примыкая к*

народникам, «работали два очень крупных литератора: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский» и что, будучи более социально зоркими и талантливее всех, «даже вместе взятых, народников», «они первые почувствовали и отметили разноречие деревни и города, рабочего и крестьянина. Особенно ясно было это Успенскому, автору двух замечательных книг: «Нравы Растеряевой улицы» и «Власть земли» (Г-30, 24, 476).

...кажется, А. И. Богданович... — Богданович Ангел Иванович (1860–1907) — критик, публицист буржуазно-либерального направления, сотрудник журнала «Мир божий».

...и тараканы тут ни при чем! — В рассказе «Ночью» ребенок, то засыпая, то просыпаясь, наблюдает таинственную, как кажется ему, жизнь ночной комнаты и видит, как у медного таза со свечой толпятся тараканы, замороженно глядя на огонь. В полночь у этого таза со свечой сходятся и дети — у них здесь своего рода ночной клуб. В доме ждут появления новорожденного — дети пытаются постичь смысл этого события, оно волнует и тревожит их. Они силятся понять мир, открывающийся для них в большом и малом. Рассказ носил автобиографический характер.

С. 76. *...Мой патрон А. И. Ланин...* — Ланин Александр Иванович (1845–1907) — присяжный поверенный в Нижнем, Горький работал у него письмоводителем в конце 1889-го и начале 90-х гг.

...значительная группа разнообразно недюжинных людей... — Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933). По окончании Московского университета служил земским врачом в Рязанской губ., был выслан в Уфимскую губ., а затем Восточную Сибирь, где прожил три года. С 1887 по 1896 г. — городской врач в Нижнем. Автор рассказов из жизни ссыльных и путевых очерков, повести о семидесятниках — «Озимь», *Иванчин* — Писарев Александр Иванович (1849–1916) — народоволец, в 80-е гг. был в ссылке в Восточной Сибири. С 1892 г. входил в состав редакции журнала «Русское богатство», главного органа либерального народничества. Савельев Александр Александрович (1848–1916) — с 1878 г. сотрудник «Русских ведомостей», в 90-е гг. — председатель Нижегородской уездной, а затем и губернских земских управ. Редактор «Нижегородской земской газеты».

...реферат Карелина о Сен-Жюсте... — Карелин Аполлон Андреевич (1863–1926) — экономист, юрист, в начале 80-х гг. — глава нижегородских народовольцев. *Сен-Жюст* Луи Антуан (1767–1794) — один из вождей Французской буржуазной революции 1789—94 гг.

...о «новой поэзии»... — Фруг Семен Григорьевич (1860–1916), Коринфский Аполлон Аполлонович (1868–1936), Медведский Константин Петрович (1867—?), Минский Н. (псевд. Виленкина Николая Максимовича, 1855–1937), Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — поэты-символисты. В 1892 г. у Мережковского вышел стихотворный сборник «Символы».

...земские статистики... Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт. — О них см. в наст, сб.: «Н. Ф. Анненский», с. 110 и примеч. к ней.

С. 77. *Литератор С. Елеонский...* — С. Елеонский (псевд. Мидовского Сергея Николаевича, 1861–1911) — студент Духовной академии, руководитель одного из казанских кружков. Позже печатался в «Знании».

С. 78. *А Горинов откуда ума достал?* — Горинов Владимир Адрианович (1850–1917) — земский деятель, в 1892 г. участвовал вместе с Короленко в организации помощи голодающим Нижегородской губернии, позже — нижегородский городской голова, пайщик газеты «Нижегородский листок».

С. 79. *...знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский...* — Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829–1908) — протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, получивший известность как проповедник. Горький упоминает в «Климе Самгине» «общие исповеди», организованные Иоанном Кронштадтским. О нем см. у Горького: «Из воспоминаний [Иоанн Кронштадтский]».

С. 80. *...другого нижегородского купца И. А. Бугрова.* — Бугров Николай Александрович (1837–1911). О нем см. у Горького: «Н. А. Бугров».

...весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу... — Горький ушел из Нижнего в апреле 1891 г. и вернулся в октябре 1892 г. «...Я ушел из города и почти два года шатался

по дорогам России, как перекасти-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений...» (ПСС, 16. 221).

...оппозиция взбалмошному губернатору Баранову... — Кажется, уже вышла его книга «Голодный год»... — Баранов Николай Михайлович (1836–1901) был нижегородским губернатором в 1883–1897 гг. Принимая деятельное участие в организации помощи голодающим в Нижегородской губернии, Короленко помещал отчеты «с голода» в «Русских ведомостях», чем влиял на ход событий, добиваясь от губернатора больших ссуд и более решительных мер. Кроме того, он энергично вел борьбу за улучшение положения голодающих и в рамках нижегородского благотворительного комитета и продовольственной комиссии — прочел там доклад о состоянии дел в Лукояновском уезде, где работал «на голоде», и рассказал, невзирая на лица, о тех злоупотреблениях, с которыми там столкнулся. Очерки Короленко «Голодный год» печатались с февраля по июль 1893 г. в журнале «Русское богатство» и в том же году вышли отдельной книжкой.

...подобное армии спасения»... — «Армия спасения» — религиозно-филантропическая организация, организована английским священником Вильямом Бутсом в 1865 г.

С. 81. *...один из героев романа Боборыкина «На ущербе»...* — Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) был нижегородцем, он родился в Нижнем, здесь окончил гимназию, многие нижегородцы стали прототипами его героев. Автор романов: «Китай-город», «Перевал», «Василий Теркин», «Тяга» и др.

...новые книги: толстые тома Редкина... «История социальных систем» Щеглова...книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича. — Имеются в виду книги: Редкина Петра Григорьевича (1808–1891) «Из лекций проф. Редкина по истории философии и права», вып. 1–7. Спб., 1889—91; Щеглова Дмитрия Федоровича (ум. 1902) «История социальных систем от древности до наших дней», т. 1–2. Спб., 1870–1889; Лохвицкого Александра Владимировича (1830–1884) «Обзор современных конституций», ч. 1–3 (Сдб., 1862–1863); Ключевского Василия Осиповича (1841–1911) «Лекции по русской истории». Коркунова Николая Михайловича (1853–1904) «Лекции по общей теории права» вышли в Петербурге в 1886 г. Сергеевича

Василия Ивановича (1835–1911) «Лекции и исследования по истории русского права» выпущены были в 1883 г.

...жадно читало... повесть Дедлова «Сашенька» [...] резко выраженное устремление к индивидуализму. — Дедлов (псевд. Кинга Владимира Людвиговича, 1856–1908). Из его произведений наибольшую известность получил роман «Сашенька». Позже, поставив Грелу Поля Бурже («Ученик»), Леона Плошовского Генрика Сенкевича («Без догмата»), Сашеньку Дедлова в ряд с другими ведущими фигурами русской и европейской литературы XIX в., Горький скажет, что они наглядно демонстрируют процесс духовного оскудения, дегероизации героя, постепенное и неуклонное «разрушение» гипертрофированной личности.

...в детерминизме системы Маркса... — Первый том «Капитала» К. Маркса в переводе Н. Даниельсона вышел в 1872 г., второй и третий в — 1885 и 1896 гг.

С. 82. ...на догматику эгоизма А. Смита... — Горький имел в виду «Основания политической экономии» английского философа и социолога Джона Стюарта Милля (1806–1873). Книга первая в переводе Н. Г. Чернышевского и с его примечаниями печаталась в «Современнике» в 1860 г. В 1861 г. в «Современнике» были опубликованы «Очерки из политической экономии (по Миллю)» Чернышевского. Полный перевод «Оснований политической экономии» Милля был издан А. Н. Пыпиным, когда Чернышевский уже был в заключении. Он сохранил в значительной мере примечания Чернышевского, но ни автор перевода, ни автор примечаний названы не были, по понятной причине.

С. 84. П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса. — Скворцов Павел Николаевич (ум. 1931) — нижегородский статистик, был «легальным марксистом».

...до издания «Критических заметок» П. Б. Струве... — Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — экономист, представитель «легального марксизма», позже один из лидеров кадетской партии, эмигрант. Речь идет о книге: Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып. 1. Спб., 1894.

...в гостиной адвоката Щеглова — Щеглов Николай Петрович (1856

—?) — нижегородский адвокат, близкий революционным кругам.

...многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. — В письме И. А. Груздеву от мая 1936 г. Горький упоминает в качестве членов кружка Скворцова В. А. Десницкого-Строева, Владимирского Михаила Федоровича (1874–1951), наркома здравоохранения РСФСР в 1930—34 гг.

С. 87. *Но — Вольтер (...) его упрямая защита безнадёжного, казалось, дела, — это великий подвиг!* — Первым осужденным, в защиту которого Вольтер выступил, был Жан Калас, обвиненный в сыноубийстве (1761). Он продолжал и далее выступать против религиозного изуверства клерикалов и в защиту их жертв.

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском... — В феврале 1887 г., будучи в Петербурге, Короленко ездил на Васильевский остров к Глебу Успенскому — знакомиться.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Впервые напечатано как единое целое с «Время Короленко» в журнале «Летопись революции», 1923, № 1, под общим названием: «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний».

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г-ий, их быстро напечатали. Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от П. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил. все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубаше синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, оп, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные

глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, — это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь, добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв передо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г. Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление,

потому что, видите ли, кулаки накапливают капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печтаетесь, — чего же? Заходите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежесвеженным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески-внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей

милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись.

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев»,

организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком — всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите, — вы уже заразились!

Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вздребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дразги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем, критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, — он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурился.

— Не помню! Во всяком случае, это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю, и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете

вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе» — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — немного! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали, — правда, что в деле Ромаса и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с склонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все

росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу...

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — ненужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не

трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоцманом, я молча следил за его глазами, — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главным пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:

Мне до отращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженьями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он

напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы, и, таким образом, обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди, ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там на полке, около божницы, он увидел гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов?

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там в Метехском замке ротмистр Конисский, впоследствии начальник петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь

лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болея и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак — вы утверждаете... А между тем нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, нагруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину». Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастьем, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

«Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь...

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным, полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мультианское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с

туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г. усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников' с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова:

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы

дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе — человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе, и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с шуми были товарищеские, он работал, как ломовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества, «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей, мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной-борьбе против стоголавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом. В 908 году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но ой будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

*На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.*

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо
Все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтобы ускорить рассвет этого
дня.

Комментарии

С. 88. *Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса...* — В Нижний из Тифлиса Горький вернулся в октябре 1892 г.

...я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта. — Ряд рассказов Горького был опубликован в «Волжском вестнике» за 1893 г., в том числе «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины». Рейнгардт Николай Викторович (1842—?) — публицист, адвокат, был в период с 1883 по 1905 г. редактором «Волжского вестника», издававшегося в Казани.

...даже от людей, очень близких мне, от Н. З. Васильева... — С Васильевым Николаем Захаровичем (1868–1901) Горький подружился в Нижнем в мае — июне 1890 г., когда Васильев приехал в родной город на каникулы. Он учился в Нижегородском дворянском институте, затем в Нежинском филологическом лицее и, наконец, в Московском университете. Увлекался химией, постоянно проделывал над собой всяческие эксперименты. Горький «записал» Васильева в рассказе «О вреде философии». Васильев погиб, производя свой очередной эксперимент.

С. 89. *...и один напечатан в газете «Кавказ».* — Горький имел в виду рассказ «Макар Чудра», опубликованный в сентябре 1892 г. в тифлисской газете «Кавказ».

...почти все лето гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. — Короленко обычно в летние месяцы отправлялся в странствия по России, чаще — пешком, с котомкой за плечами, или на лодке, на подводе — «шел в народ», как он шутливо это называл. Начинал свой поход, как правило, с Нижегородья. На Ветлуге, на Кержепце Короленко был в 1889 и 1890 гг., путешествовал по Волге — в 1891, 1892 гг. Летом 1889 г. спустился вниз к Саратову, где встретился с Н. Г. Чернышевским.

...я кратко очертил ему путь мой... — Когда в апреле 1891 г. Горький ушел из Нижнего, он направился к Казани, затем — в Царицын. Снова оказался в Добринке, а оттуда пешком, по степям, через станицы пришел в

Ростов-на-Дону. Здесь работал в порту грузчиком. Продолжением пути явились Харьков, Курск, Задонск... В Лубнах, в монастыре, посещает «провидца» Афанасия Сидящего. Спускается по Десне к Переяславлю, впервые — в Киеве. Проходит Канев... В Очакове — на «соляной добыче». Бессарабия. Под Аккерманом в партии молдаван собирает виноград... Через Бахчисарай идет в Севастополь. Ялта, Феодосия, Керчь. Переправляется через пролив в Тамань. Кубань. Работает на молотье. Арестован в Майкопе «как проходящий»... 1 ноября 1891 г. он в Тифлисе. Забрел в духан и был арестован. Помощник частного пристава дал ему адрес проживающего под надзором полиции М. Я. Началова, знакомого по Царицыну. В Тифлисе Горький сближается с народовольцем А. М. Калюжным. Началов и Калюжный устраивают его на службу в главные железнодорожные мастерские Тифлиса. Сходится с рабочим-механиком Ф. Е. Афанасьевым, ставшим в дальнейшем революционером, марксистом. Поселяется с ним вместе в «коммуне», которая быстро становится центром учащейся и рабочей молодежи. В сентябре 1892 г. с Ф. Е. Афанасьевым уходит из Тифлиса в Баку. Затем — в Астрахани. 6 октября 1892 г. наконец возвращается в Нижний.

...только что прочитал его рассказ «Река играет»... — Напечатал в сборнике «Помощь голодающим», 1892.

С. 90. *...о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским.* — Насильственной Горький называет эту беседу потому, что, пробравшись с помощью привратника в монастырский сад, когда там отдыхал Иоанн Кронштадтский, он, по существу, принудил проповедника к беседе. Горький хотел знать, что думает Иоанн о происхождении зла.

...о своих беседах с мужиками Лукоянова... — В Лукояновском уезде Нижегородской губернии Короленко работал в 1892 г. «на голоде».

С. 91. *...принес... Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль»...* — Сказка «О маленькой фее и молодом чабане», куда входила песня, начинающаяся словами «В лесу над рекой жила фея...», была опубликована в «Самарской газете» в 1895 г., как и «Старуха Изергиль».

С. 92. *...стихов Мюссе... в переводе... Мысовской...* — Стихотворные переводы Мысовской Анны Дмитриевны (1840–1912) из Альфреда де

Мюссе печатались в «Пантеоне литературы» и выходили отдельными изданиями. Мысовская была близка кружку Короленко.

...там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным — нет, не так?...Возможно. — В 1889 г. Горький познакомился с О. Ю. Каминской, женой Б. П. Корсака, поляка, бывшего политического ссыльного, близкого к народникам. Горький полюбил Каминскую, но тогда, в 1889 г., она предпочла остаться с мужем. «Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города... — вспоминал Горький годы спустя. — А когда, через два с лишним года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, — обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок» (ПСС, 16, 221).

С. 93. *Но я женат.* — В декабре 1892 г. О. Ю. Каминская с маленькой дочерью приехала из Тифлиса в Нижний — к Горькому.

Ромась арестован?.. В Смоленске?.. На квартире Ромась была арестована типография «народоправцев», организованная им. — Ромась арестовали в Смоленске в 1894 г. Нелегальная народническая партия «Народное право» существовала с 1893 г. Горький в этом очерке несколько сдвинул хронологию, объединив разговоры с Короленко, относящиеся к разным годам.

...снова сошлют его куда-нибудь. — Ромась был снова сослан в Якутию, где пробыл еще десять лет.

Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам... — Астырев Николай Михайлович (1857–1894), увлеченный идеями народничества, бросил институт инженеров путей сообщения, в котором учился, и три года работал писарем в одной из волостей Воронежской губернии, результатом чего явилась серия очерков «В волостных писарях». Напечатанные в 1888 г. в «Вестнике Европы», они были положительно оценены Короленко. Далее Астырев возглавлял статистическое бюро в Иркутске. В 1891 г. работал «на голоде» в Самарской губернии. С помощью петербургских народовольцев отпечатал в 1892 г. написанную им антицаристскую прокламацию — обращение к голодающим крестьянам и приступил к ее распространению. Был арестован. Два года провел в тюрьме и по выходе из нее умер.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети... — Евдокия Семеновна Короленко (1855–1940) — жена В. Г. Короленко, дети: дочери Софья (1886–1957), Наталья (1888–1950).

С. 94. *Так писал еще Павел Якушкин.* — Якушкин Павел Иванович (1820–1872) — собиратель русских народных песен. Все его произведения, из которых более известны «Велик Бог земли русской», «Бунты крестьянские», носили характер этнографических заметок и картинок из народной жизни.

...о путешествии Миклухи-Маклая... — Н. Н. Миклухо-Маклай, завершив свои многолетние путешествия, вернулся в 1886 г. в Россию с проектом организации русской колонии на Новой Гвинее. Надеясь найти поддержку своей идее у широкой общественности, он читал публичные лекции в Петербурге и Москве о своей жизни на Новой Гвинее, среди папуасов. Отчеты о них печатали все крупные газеты.

...в «Волгаре» вашего «Деда Архипа»... — Рассказ Горького «Дед Архип и Ленька» появился в нижегородской газете «Волгарь» в феврале 1894 г.

С. 95. *...некая девица Истомина?* — Истомина Неонила Константиновна привлекалась по делу народоуправцев.

...убита в числе других бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове... — Максималисты — мелкобуржуазное полуанархическое течение, оформившееся в 1906 г. в «Союз социалистов-революционеров максималистов». Покушение на П. А. Столыпина, главу правительства Николая II, произведено было максималистами 12 августа 1906 г. При взрыве дачи на Аптекарском острове в Петербурге было убито 22 человека и ранено более 30, в том числе дочь и малолетний сын Столыпина. Министр остался невредим. Там же была убита и Истомина.

С. 96. *Что это вы?* — Ревматизм. — Горький и Каминская сняли за два рубля в месяц старую баню в саду нижегородского священника. «Ночами, — вспоминал Горький, — работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхъестественно при моем здоровье и

выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался» (ПСС, 16, 224).

...сел писать «Челкаша». — Написан в августе 1894-го.

С. 97. *...одного студента-петровца.* — Так называли студентов Петровской земледельческой и лесной академии, в которой два года учился и Короленко, но был исключен за участие в коллективном заявлении.

...есть знакомый в «Самарской газете». — Короленко имел в виду Ашешова Николая Петровича (1866–1923), публициста, литературного критика, работавшего в «Самарской газете» заведующим редакцией. Перепиской с Ашешовым Короленко и устроил Горькому переезд в Самару. Горький получил должность постоянного сотрудника — фельетониста, составителя обзоров и беллетриста. Переехал в Самару в феврале 1895 г.

С. 98. *...чужой вы во всей этой фантастике!* — О том, как сложилась жизнь Горького с Каминской, можно судить по рассказу «О первой любви», который Горький написал, получив известие — как оказалось, ложное — о смерти своей «первой женщины».

...подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида»... — Горький вел в «Самарской газете» серию фельетонов «Между прочим», которые и подписывал псевдонимом Иегудиил Хламида.

Скукин — псевд. Потемкина Кузьмы Васильевича (р. 1875).

С. 99. *Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и... отвезли в Тифлис.* — Горький был арестован в ночь с 6 на 7 мая 1898 г. по делу Ф. Е. Афанасьева и членов тифлисской социал-демократической организации. Поводом к аресту послужила найденная у Афанасьева при обыске фотография Горького с дарственной надписью.

...ротмистр Конисский... — С полковником отдельного корпуса жандармов М. А. Конисским Горький встретится еще и в 1905 г., тот допрашивал его после освобождения из Петропавловской крепости.

С. 99. *...епископа Конисского, который... произнес знаменитую речь... Екатерине Второй...* — Архиепископ белорусский Конисский произнес в 1787 г. речь, в которой были слова: «Оставим астрономам доказывать, что

земля вокруг солнца обращается!»

С. 100. *Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича...* — Горький запомнил: в этот промежуток времени он несколько раз видел Короленко, но с 1896 г. Короленко уже не жил в Нижнем. Он переехал в Петербург в начале года.

В 901 году я впервые приехал в Петербург... — Впервые Горький приехал в Петербург 29 сентября 1899 г. Именно этот приезд он и описывает далее.

Я был в «моде»... — В 1898 г. вышли два тома «Очерков и рассказов» Горького в издании С. П. Дороватовского и А. П. Чарушникова. В 1898 г. с марта по май в «Северном вестнике» печаталась «Варенька Олесова», в журнале «Жизнь» с февраля по апрель и с июня по сентябрь 1899 г. — «Фома Гордеев».

...провокаатор и агент охранного отделения М. Гурович... — Гурович М. И., чиновник департамента полиции, сотрудничал в журнале «легальных марксистов» «Начало» в провокационных целях.

С. 101...*не дешево стоило ему Мультианское дело...* — В декабре 1894 г. временное отделение Сарапульского окружного суда присяжных в г. Малмыже Вятской губернии, рассмотрев дело об обвинении одиннадцати крестьян-удмуртов в человеческом жертвоприношении, признал семерых из них виновными. Дело слушалось еще трижды. Короленко публиковал отчеты в «Русском богатстве», ездил на место происшествия в Старый Мултан, выступал с докладом в Юридическом обществе. И в итоге добился оправдательного приговора. За это время умерла его маленькая дочь.

Что же вы — стали марксистом? — Осенью 1898 г. Горький познакомился в Нижнем с Владимиром Александровичем Поссе (1864–1940), журналистом и общественным деятелем, редактором журнала «легальных марксистов» «Жизнь». В октябре Горький дал согласие на сотрудничество в «Жизни», которое и продолжалось до 1901 г. Фактически он возглавлял в журнале литературный отдел.

С. 102. *Вы читали его «Московский сборник»?* <— К. П. Победоносцев был в 1860—65 гг. профессором гражданского права в Московском

университете. В 1872 г. стал членом Государственного совета, восемь лет спустя вступил в должность обер-прокурора Святейшего синода. В «Московском сборнике», вышедшем в 1896 г., Победоносцев, опираясь на западных исследователей, развернул, с правых позиций, критику буржуазно-демократических устоев современной ему западноевропейской культуры и государственности.

...в честь и память Чернышевского... — Литературный вечер памяти Н. Г. Чернышевского, который состоялся 17 октября 1899 г., был организован по случаю десятой годовщины со дня смерти Чернышевского.

С. 102–103. *Л. Мельшин* (псевд. Якубовича Петра Филипповича, 1860–1911) — писатель-народоволец. *Туган-Барановский* Михаил Иванович (1865–1919) — экономист, «легальный марксист», затем — кадет. Туган-Барановский и Струве были редакторами журнала «Начало» с января по май 1899 г. После пятого номера он был закрыт.

С. 104. *В 87 году... закончил... «На затмении» стихами Н. Берга...* — Рассказ «На затмении» был опубликован в газете «Русские ведомости», 1887, август. Стихи Короленко включил в рассказ позже, дорабатывая его в 1892 г. *Берг* Николай Васильевич (1823–1884) — поэт и переводчик.

О МИХАЙЛОВСКОМ

Написано, очевидно, в конце января — начале февраля 1922 г. и явилось прямым продолжением двух предшествующих в наст. сб. очерков — «Время Короленко» и «В. Г. Короленко». Впервые напечатано: *Арх. Г., III.*

Пошел к Н. К. Михайловскому, — он встретил меня ласково и весело:
— Вот вы какой! А кто-то говорил мне, что вы похожи на Степана Разина, и, кажется, Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участь, — написал?

— Написал.

— Он хороший человек, много лучше его стихов. Вы не хотите, вероятно, чтоб вас четвертовали? Но — кажется, уже начали растягивать по партиям? Марксист?

Я сказал:

— Нет, не марксист, но, по натуре моей, склоняюсь в ту сторону, где чувствую больше активного отношения к жизни.

— Гм? А у народников вы не чувствуете этой активности?

До этой встречи я знал Николая Константиновича только по портретам. Теперь он показался мне непохожим и на портреты и вообще на русского человека. В его небольшом, ладном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невеселой мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня.

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе, о всей этой неясной, опечалившей меня борьбе. Он, слушая внимательно, часто восклицал:

— Да? Так. Ого?

Говорил я о том, что среди интеллигенции, куда я поднялся не без тяжелых усилий, я ожидал встретить иные нравы, иное отношение друг ко другу, больше внутренней сплоченности, больше взаимного уважения,

дружбы и сердечности.

— Всё слова, вышедшие из употребления, старинные слова, — усмехаясь, вставил Михайловский в мою возбужденную речь.

Говорил я о том, как огромна и тяжела деревня, как она слепа и недоверчива ко всему, что творится вне узкого круга ее прямых интересов, что интеллигенции в стране отчаянно мало и за пределами крупных городов ее влияния не чувствуется, значение ее — непонятно.

Он, видимо, был тронут, мне показалось, что его глаза влажны, когда он заговорил с ласковой насмешкой:

— Эге, батенька, да вы — идеалист и едва ли не романтик! И совсем не такой грубиян, как говорят о вас! Вас, очевидно, встречают по одежке ваших мыслей, — а вы одеваете их не модно, торопливо, да и грубовато немножко...

Потом решительно заявил, что откажется от участия на вечере, если Поссе устранят, и спросил: что я намерен писать?

Я рассказал ему план книги «Мужик» — полуфантастическую историю карьеры архитектора из крестьян.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, удивленно разведя руками. — Про него говорят — марксист, а он собирается писать какую-то апологию буржуа! Среду-то эту, купечество, вы хорошо знаете?

Тип героя-«мужика» лепился у меня довольно ясно и прочно из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы, и моих наблюдений над жизнью поволжских городов.

— Может быть, это будет интересно, — Н. К. недоверчиво пожал плечами, — во всяком случае — оригинально. Буржуй как положительный тип — вы это будете печатать в марксистской «Жизни»? Тоже оригинально!

Засмеялся и потом сказал серьезно:

— А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров. Вы симпатизируете людям сильной воли, — сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!

С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых. Говорил страстно, образно, как поэт, задыхаясь от волнения и как-то вздрагивая всем телом.

Его очень утомила эта речь; посидев еще несколько минут, я встал.

— Хотите идти? Принято, чтоб старые литераторы напутствовали молодых. Я — вдвое старше вас. Вы мне понравились, и я хочу вас обнять, — это и будет моим напутствием...

Тут разыгралась одна из наиболее странных и трогательных сцен,

пережитых мною...

Потом, крепко поцеловав друг друга, мы расстались, не сказав ни слова более.

Я видел этого человека не более трех-четырех раз, — с каждым разом он становился мне все более дорог и близок, но, в суете жизни, мне не пришлось уже говорить с ним один на один.

В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни», различные люди говорили обязательные в таких случаях речи. Н. К. Михайловский сидел рядом со мною и, тыкая меня большим пальцем под ребра, увещевал:

— Отвечайте же, сударь! Вам наложили целую поленницу комплиментов, — надо отвечать! Ну — кураж!

Я не умею говорить речей. Церемония обеда была убийственно скучна, едоки чувствовали себя нелепо, некоторые из них поглядывали на меня явно враждебно, насмешливо. Я сказал Н. К., что это мешает мне дышать.

— Привыкайте, — шутливо-строго сказал он вполголоса. — Ничего, так и следует. Было бы наивно думать, что ваш успех — всем приятен.

Потом я был у него на именинах или в день рождения, — не помню. Великолепно настроенный, Н. К. остроумно шутил, отвечал сразу на десяток вопросов, обращенных к нему, удивляя меня юношеской живостью.

— Но — рядом со мною сидел П. Ф. Мельшин-Якубович и портил мне жизнь.

— Вы читаете «Искру»? — спрашивал он. — Читаете. Так. А я — жгу, когда она попадает в руки мне. Жгу.

Я впервые видел его и думал — вот фанатик! Потом оказалось, что это обыкновенный русский человек, добродушный и мягкий, несмотря на то, что жизнь ковала его тяжким молотом. Но в этот [раз] он был почему-то крайне свирепо настроен против Маркса, марксистов, Струве и все дудел в ухо мне жестокие слова, не позволяя слушать, что говорил Михайловский. А он говорил что-то интересное, возражая Н. Карееву и Н. Ф. Анненскому.

— Нет, — слышал я отрывки его горячей речи, — надобно опуститься как-то ниже философии культуры к философии быта, — к самому обыкновенному содержанию текущего дня, и тогда, может быть, обнаружится...

Мельшин, дергая меня за рукав, спрашивал — знаю ли я его переводы стихов Бодлер?

Я — знал. И, судя по этим переводам, заключил, что Бодлер был весьма неуклюжий стихотворец.

— Странно, — сказал Мельшин. — По-моему — Бодлер должен бы

нравиться вам...

А Михайловский говорил кому-то весело и громко:

— Я нажил сердце, которое обеспечивает мне быструю и безболезненную смерть...

В суете праздника я так и не нашел удобной минуты спросить Н. К. — что именно должно «обнаружиться»?

Вскоре я уехал. А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище.

Комментарии

С. 105. *Пошел к Н. К. Михайловскому...* Первая встреча Горького с Николаем Константиновичем Михайловским (1842–1904) произошла 9 октября 1899 г. в Петербурге.

...Тан написал Вам письмо, стихами, предлагая Стенькину участь... — Тан (псевд. Богораза Владимира Германовича, 1865–1936) — ученый этнограф, поэт и беллетрист. В стихотворении Тана есть такие строки: «Щеголял в цветной одежде, || Щеголял в мороз босым, || Назывался Стенькой прежде, || А теперь зовут Максим».

...его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям... — Н. К. Михайловский, апологет и теоретик народничества, один из вождей его, редактор «Русского богатства», был прекрасным полемистом, блестяще владея и устным словом, и пером. В казанских народнических кружках статьи Михайловского «Герои и толпа» (1882), «Вольница и подвижники» (1877) почитались, по словам Горького, евангелием. То был гимн личности, призванной изменить ход истории, поведя за собою «толпу». Позже, в «Беседах о ремесле», Горький назовет Михайловского «организатором идей и настроений «народничества» в систему моральной философии» (Г-30, 25, 357), о себе же скажет, что он в то время ощущал себя человеком толпы, и потому «герои» Михайловского не увлекали его.

...о вечере, Поссе, о всей этой... борьбе. — Здесь продолжение сюжета, начатого в предыдущем очерке «В. Г. Короленко».

С. 106. *...и спросил: что я намерен писать?* — Михайловским был напечатан в «Русском богатстве» рассказ Горького «Челкаш», — правда, не без нажима со стороны Короленко, — но он же решительно высказался против опубликования таких ранних опытов Горького, как «Море», «Ошибка», найдя в них «признаки декадентства». По выходе из печати «Очерков и рассказов» Горького, Михайловский отозвался на них двумя статьями в «Русском богатстве»: «О г. Максиме Горьком и его героях» — 1898-й, сентябрь, и «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» — тот же год, октябрь. По этому поводу Горький сообщал Короленко: «Когда я узнал, что

Н. К. написал обо мне, — у меня сердце екнуло. «Вот оно — возмездие», — подумал я. Оказывается, что и он видит во мне нечто заслуживающее внимания и даже одобрения» (Г-30, 28, 48). Сказав, что Горький будет помянут историей литературы, даже если не напишет ничего более, отметив оригинальность разрабатываемой им темы — мира босяков, золоторотцев, — Михайловский, однако, попрекнул автора отвлеченностью его, как казалось критику, от реальных обстоятельств живой жизни. Он назвал босяков не отвергнутыми, но «отвергшими», как бы отвернувшимися от реальной действительности.

...план книги «Мужик»... — В декабре 1899 г. в письме А. П. Чехову Горький начертил уже общий абрис задуманной вещи: «Буду изображать в ней мужика — образованного, архитектора, жулика, умницу, с благородными идеями, жадного к жизни, конечно» (Г-30, 28, 108). Даже написал три главы повести, первые две были напечатаны в «Жизни» — 1900, №№ 3, 4. Этим дело и кончилось.

Среду-то эту, купечество, вы хорошо знаете? — На вопрос Михайловского Горький ответил в статье «О том, как я учился писать» много позже. «...Для того, — рассказывает он, — чтобы написать «Фому Гордеева», я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, «томительно бедной жизни» мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей, в одну сторону выходили пьяницы, «прожигатели жизни», хулиганы, а в другую — отлетали «белые вороны», как Савва Морозов...» «Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и т. д.» (Г-30, 24, 495).

С. 107. *Я видел этого человека не более трех-четырёх раз...* — В июне 1901 г. Михайловский был у Горького в Нижнем, в марте 1902 г. Горький сообщал Короленко, что им дано слово Михайловскому и Н. Ф. Анненскому сотрудничать в журнале «Русское богатство».

Кареев Николай Иванович (1850–1931) — историк, публицист, с 1905 г. — кадет, был членом I Государственной думы, после Октябрьской революции, с 1929 г. — почетный академик АН СССР.

С. 108. ...знаю ли я его переводы стихов Бодлера? — Шарль Бодлер в переводах Мелыпина печатался в 80-х, начале 90-х гг. в ряде журналов, в 1895 г. в переводе Мелыпина вышли «Цветы зла» Бодлера.

...Бодлер должен бы нравиться вам... — В 1927 г. в статье «Об Анатоле Франсе», раскрывая свое понимание французского национального характера, склада души, Горький, в частности, писал, что отделяет пессимизм человека, который оскорблен тщетными попытками найти гармонию вовне и внутри себя, страстно проклиная и себя и мир, от пессимизма тех, кто с безнадежной покорностью переносит пытки духа и плоти, и именно потому — принимает пессимизм Бодлера.

А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище. — Похороны Н. К. Михайловского состоялись 30 января 1904 г. В письме Е. П. Пешковой Горький подробно рассказал, как проходили эти похороны: все было благопристойно и тускло — ни ярких речей, ни демонстраций. К 1904 г. народничество уже потеряло свою былую популярность.

Н. Ф. АННЕНСКИЙ

Написано в декабре 1926-го — январе 1927 гг. для сборника памяти Анненского, готовившегося в связи с исполнявшимся в 1927 г. пятидесятилетием со дня его смерти. Напечатано впервые в кн.: Горький М. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, «Книга», 1927.

В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова Павел Скворцов, один из первых проповедников Маркса, читал свой доклад на тему об экономическом развитии России. Читал Скворцов невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы. Слушали его люди новые для меня и крайне интересные: человек пять либеральных адвокатов, И. И. Сведеицов, старый, угрюмый народоволец-беллетрист, много писавший под псевдонимом Иванович; благожелательный барин-революционер А. И. Иванчин-Писарев; Аполлон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов; Н. Н. Фрелих, красавец, о котором я знал, что он тоже революционер. Было и еще несколько таких же солидных людей, с громкими именами, с героическим прошлым.

Когда Скворцов кончил читать, на него почти все закричали, но особенно яростно — брат казненного Степана Ширяева, Петр, человек бородатый, с лицом алкоголика. Грубо кричал Сведенцов, ему вторил Егор Васильевич Карамзин, тяжело переживавший в то время свой отход от народничества к марксизму. Скворцов огрызался во все стороны, размахивая длинным камышовым мундштуком, но сочувствующих ему в гостинной не было, его не слушали, забивали криками, уже оскорбляли. Сведенцов, сказав что-то очень сильное, проклинаящее, парадно отошел в угол, в облако синего дыма, а навстречу ему из угла поднялся плотный человек, седоватый, с красным лицом и в костюме более небрежном, чем на всех остальных; не то чтоб он был бедно одет, но именно небрежно, как человек, не чувствующий нужды украшать себя извне.

— Я протестую, господа, — сказал он неожиданно молодым голосом; глаза у него тоже были очень молодые, ясные; помню, я подумал: «Вот удивительные глаза!»

Откровенно поддернув брюки, что вышло у него вовсе не смешно, он выдвинулся из дыма и горячо, но не сердито, а как-то особенно неоспоримо и внушительно стал говорить об уважении к человеку и свободе человеческой мысли. Мне очень понравилась необыкновенная ясность его речи, умелый подбор простых, но веских слов, они ложились в память, как слова песни.

— Человеческая мысль, стремясь разрешить загадки жизни, имеет право ошибаться, — сказал он между прочим...

Расхаживая «па поисках истины» из квартиры в квартиру «неблагонадежных» людей, я несколько раз встречал П. Ф. у Н. И. Дрягина, где собирались воспитанные Анненским известнейшие статистики: Кисляков, Константинов, остроносый Шмит, маленький М. А. Плотников и много других людей.

Каждая встреча с Николаем Федоровичем вызывала у меня удивление перед этим человеком и углубляла уважение к нему. Удивляла меня бодрость его духа, его вера в добрые силы жизни, его рыцарское отношение к человеку.

Во время столкновения двух миропониманий, непримиримых по сущности своей, были люди, переживавшие свой личный раскол глубоко и тяжело, но встречалось немало любителей новизны, которые слишком торопливо натягивали европейский костюм марксизма на русский зипун народничества. Не один раз случалось мне наблюдать, с какой удивительной чуткостью, как бережно относился Н. Ф. к первым и с каким безжалостным остроумием обнажал он суетливую поспешность вторых.

В речах своих он был юношески горяч, великолепно владел острым словом, метко, как художник, попадал пм в цель; ов. умел высмеять противника, даже немножко уязвить его, но я не помню случая, когда бы его слово обидно задело человека. Всегда бывало так, что противник сам вместе с другими искренно смеялся над тем, как Н. Ф., поймав его на противоречиях, ставил в тупик. Помню, возражая Барамзину, он так и начал:

— Рыбу ловят на червей, человек — на противоречиях.

Он был по-русски красноречив, и особенно подкупало меня блестящее умение, с которым он владел афоризмом, этой характерной особенностью подлинной русской речи. Точно фольклорист, он знал бесчисленное количество пословиц, поговорок и артистически вплетал их в свою яркую речь, однако не перегружая ее. Не знаю, это ли называется «талантом оратора», но слушать его было наслаждением. Помню, что по поводу какой-то статьи М. Меншикова о Льве Толстом или о князе Вяземском,

толстовце, он сказал:

— Верблюды, рассказывая о коне, неизбежно изобразят его горбатым.

Два человека были для меня в ту пору «настоящими» — В. Г. Короленко, который всегда знал, что надобно делать, и говорил о трудных делах жизни со спокойствием стоика, и Н. Ф. Анненский, чья духовная бодрость действовала благотворно на меня, переживавшего в ту пору весьма тяжелые дни. Конечно, эта бодрость заражала всех, кто знал его, но мне она была действительно «лекарством по недугу».

В лице Н. Ф. я видел человека, который счастлив тем, что он живет, и тем, что умеет наслаждаться делом, которое он делает.

Через десять лет я видел Н. Ф. в Петербурге, на демонстрации 4 марта. Как раз в тот момент, когда казаки и полиция со свирепостью, которая вначале показалась мне наигранной и театральной, — так неестественно внезапно была она, — так вот в минуту, когда пьяное воинство бросилось в толпу демонстрантов, тесно сгрудившуюся на паперти и на крыльях между колонн Казанского собора, я увидел характерную фигуру Николая Федоровича.

Он один бежал от монумента Барклай де Толли на встречу публики, стремительно спасавшейся от избиения, бежал к паперти, где уже сверкали шашки, шлепали нагайки, мелькал красный флаг и откуда раздавался оглушительный, тысячеустый вой, рев, стон. Казаки, ловко повертывая лошадей в людском потоке, гикали, сбивали бежавших с ног, хлестали нагайками по головам. Пешая полиция била шашками плашмя. Полицейские были, кажется, трезвы, а казаки — пьяны, это я знаю совершенно точно, видел, как легко стаскивали их за ноги с лошадей и выбивали палками из седел. Николая Федоровича я, конечно, тотчас потерял из глаз.

Вечером он пришел в Дом литераторов с разбитым и опухшим лицом. Битых людей в тот день я видел немало, и хотя это грустно, а надо сказать правду: очень многие из них оценивали синяки и царапины свои несколько высоко, как, примерно, солдаты — георгиевский крест. В этой повышенной оценке чувствовалось нечто смешное и конфузлившее, ибо ведь шишка от удара на затылке человека не всегда свидетельство мужества его.

У Н. Ф. был очень большой синяк под глазом и, если не ошибаюсь, была разбита губа. Но казалось, что он забыл об этом или вообще не заметил. Все другие тоще как будто не замечали этого, а когда Н. Г. Гарин-Михайловский сказал что-то сочувственное, он услышал должно быть, не очень любезный ответ, потому что смутился и, покраснев, отошел.

Н. Ф. очень оживлен, мягко улыбался, дружелюбно командовал. Сказал краткую речь о необходимости гласного протеста против действий полиции; стоявшая рядом со мной Капитолина Назарьева «единогласно» откликнулась:

— Всех и вышлют из Петербурга.

— Не знаете куда? — спросил Н. Ф. и усадил кого-то писать протест.

Но, должно быть, вспомнив пословицу «Без спора скоро, да не крепко», несколько голосов заговорило о литературных недостатках протеста. Тогда Н. Ф. сказал очень серьезно:

— Прошу, господа, подписывайте в порядке алфавита! — и, помнится, подписался первым.

Е. А. Соловьев-Андреевич, человек, который не любил говорить о людях хорошо, сказал:

— Есть в Анненском что-то неотразимое, импонирующее, — и, покусав губу, пьяную, как всегда, добавил, вздохнув: — Поистине «рыцарь без страха и упрека». При этом — веселый рыцарь.

9 января 1905 года я с утра был на улицах, видел, как рубили и расстреливали людей, видел жалкую фигуру раздавленного «вождя» и «героя дня» Гапона, видел «больших» людей наших в мучительном сознании ими своего бессилия. Все было жутко, все подавляло в этот проклятый, но поучительный день.

И одним из самых жутких впечатлений моих этого дня был Николай Федорович Анненский — в слезах. Я увидал его в вестибюле Публичной библиотеки, забежав туда зачем-то. Анненского вели под руки, — не помню, кто, кажется, Т. А. Кроль и еще кто-то. Я вот сейчас вижу перед собою его хорошее лицо, невыразимо измученное, в судорогах и мокрое от слез. Рыдал он, кажется, беззвучно, но показалось мне, что он оглушительно кричит.

Наверху, в зале библиотеки, истерически шумели, точно на погибающем пароходе. Николай Федорович, поддерживаемый под руки, медленно, как очень древний человек, спускался с лестницы, ноги его подгибались, и он плакал.

Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Н. Ф. Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы.

Комментарии

С. 109. *Фрелих* Николай Николаевич (1863–1905) — нижегородский адвокат. В 1897 г. был арестован и выслан из города за столкновение с губернатором.

...брат казненного *Степана Ширяева, Петр...* — *Ширяев* Степан Григорьевич (1856–1881) — член Исполкома «Народной воли». Техник по изготовлению бомб и динамита. Шел по «Процессу 16-ти», в 1880 г. приговорен к смерти, замененной ему каторжной тюрьмой. Отбывал в Алексеевском равелине. *Ширяев* Петр Григорьевич (1853–1899) — народник.

Барамзин Егор Васильевич (1867–1920) — позже — социал-демократ, искровец, в 80-е гг., будучи студентом казанского учительского института, участвовал в казанских народнических кружках, в 90-е — работал в марксистских кружках — казанских и нижегородских. Был сослан в Сибирь, где в 1899 г. подписал «Протест 17-ти» — против экономистов, пытавшихся перевести рабочее движение в русло экономической борьбы.

С. 110. ...воспитанные *Анненским* известнейшие статистики... — *Анненский* Николай Федорович (1843–1912) — народник либерального направления, публицист, один из редакторов «Русского богатства». По образованию правовед и историк-филолог. С 1873 по 1880 г. служил статистиком министерства путей сообщения. В 1880 г. был выслан в Тобольскую губернию. Жил в Казани. С 1887 по 1895 г. заведовал статистическим отделением нижегородского губернского земства. Позже, с 1896 по 1900 г., уже переехав в Петербург, был заведующим статистическим отделом петербургского городского управления. *Кисляков* Николай Михайлович (1861—?) работал по земской статистике. До Нижнего Новгорода — в Курской губернии, после — в Псковской. Автор статистических сборников по хозяйственной статистике и народному образованию. *Плотников* Михаил Александрович (ум. 1903) — статистик, литературный критик, один из организаторов партии «Народное право», автор ряда статей, в частности по вопросу об отхожем промысле. *Константинов* Д. В. — зав. статистическим бюро нижегородского земства. *Шмидт* О. Е. — статистик того же земства.

...по поводу какой-то статьи М. Меньшикова о Льве Толстом или о князе Вяземском, толстовце... — Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — публицист, сотрудник газеты «Новое время», знакомый, корреспондент и адресат Толстого. О князе Вяземском Василии Васильевиче (1811–1892) Меньшиков опубликовал («Книжки недели», 1895, № 7) статью «Дознание», опровергающую легенду о том, что князь Вяземский роздал все свои имения крестьянам. Об этой статье одобрительно, по словам Д. П. Маковицкого, отзывался Толстой, сказав, что Вяземский заслужил это: из ничтожного человека хотели сделать героя.

С. 111. *...на демонстрации 4 марта* — 4 марта 1901 г. в Петербурге, у Казанского собора, состоялась студенческая демонстрация протеста против отдачи в солдаты 183 студентов Киевского университета за участие в студенческих волнениях.

...от монумента Барклая де Толли... — Монумент М. Б. Барклая де Толли скульптора Б. И. Орловского находится перед Казанским собором, но входит в общий его ансамбль, как и памятник его же работы М. И. Кутузову, похороненному в соборе. В скульптурных образах двух фельдмаршалов Орловский представлял как бы начало и завершение Отечественной войны 1812 г. Построен Казанский собор А. Н. Воронихиным в 1800–1811 гг.

С. 112. *...стоявшая рядом со мной Капитолина Назарьева...* — Назарьева Капитолина Валерьяновна (р. 1847) — писательница, печатавшаяся, в частности, в журнале «Русское богатство», умерла в декабре 1900 г.

...и усадил кого-то писать протест. — «Письмо писателей и общественных деятелей в редакции газет и журналов с протестом против насилий над демонстрантами 4 марта у Казанского собора» было подписано, среди прочих, Гариным-Михайловским, Н. К. Михайловским, Горьким. В марте 1901 г. Горький сообщал Чехову из Нижнего: «Следственное производство по делу о 4-м мар. установило точные цифры избитых: мужчин 62, женщин 34, убито — 4... Я вовеки не забуду этой битвы!» (Г-30, 28, 159).

Соловьев Евгений Андреевич (псевд. — Е. Андреевич, 1866–1905) —

историк литературы, критик, сотрудничал в журналах «легальных марксистов». Позже у Горького в «Знании» выйдет книга Соловьева «Опыт философии русской литературы», оцененная Горьким как вещь истинно демократическая, «первая попытка дерзкой мысли пролетария осветить рост идеи свободы в России». «Он — молодчина, Соловьев-то!» — писал Горький Пятницкому (Арх. Г., IV, 160–161).

...видел жалкую фигуру раздавленного «вождя» и «героя дня» Гапона... — Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — священник церкви пересыльной тюрьмы Петербурга, создал — под опекой департамента полиции и с согласия министра внутренних дел В. К. Плеве — «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга» с целью противостоять влиянию на рабочих революционных идей. О роли его в событиях 9 января см. в наст. сб. «Савва Морозов».

О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ

Написано в связи с 75-летием со дня рождения Н. Г. Гарина-Михайловского, исполнившимся в феврале 1927 г. Впервые напечатано полностью под названием «Н. Г. Гарин-Михайловский», в журнале «Красная новь», 1927, № 4.

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людьми.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного креста» и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но — жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.

Веселые праведники — люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть...

...Я... познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчился этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком, — а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика, — сказал он, явно думая о чем-то другом, — это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмутив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Черт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой, крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне почудилось в нем

нечто искусственное. Зачем это он исчислял сороки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, по изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается...

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это — подвиг! — восклицал он. — Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и

даже проще: желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95–96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадьё. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал.

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверью и снова явился.

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря; на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, — сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли

большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он. — Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидел мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин

чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни, — продолжал он рассказывать. — Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки... сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал все это, как всегда, — торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы...

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.

Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».

— Пустяки, — сказал он, вздохнув. — О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:

— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь», попенял ему:

— Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, —

сказал он и невесело усмехнулся. — Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людьми здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение, над землею мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его, — судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну ты к черту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович, сказал он, — горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молнии в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики, — одно время говорить об этом было очень модно, — Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как впоследствии спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

— Это — декадентщина! — кричал он. — На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые медики всё более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах, — обо всем он говорил увлекательно.

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, — и не только этих, — поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё

не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупое и глупое, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Черт бы их подрал, — возмущался он, — у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием, — подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это — кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гариин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гариин сидели на ступеньках террасы. Гариин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гариин пришел ко мне, в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свинными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа, — сказал Гариин и вздохнул. — Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны, — усмехнулся он. — Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек...

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии,

но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.

— Вас, батенька, скоро посадят, — вдруг сказал он. — Это мое предчувствие. А меня закопают — тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда, никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу», — участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца. Оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.

Комментарии

С. 113. ...*Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни...* — Франциск Ассизский (настоящ. имя — Джованни Бернардоне, 1182–1226) — основатель католического монашеского нищенствующего ордена, названного францисканским в его честь. Франциск Ассизский вел странствующую жизнь. Горький называл его «религиозным эпикурейцем», «эллином», который бога любит как собственное свое создание, плод своей души и не испытывает перед ним страха.

...*международную организацию «Красного креста»...* — Международный «Красный Крест» был основан в 1863 г. швейцарским общественным деятелем, литератором Анри Дюнаном как организация, призванная оказывать помощь раненым и медперсоналу воюющих стран.

...*доктор Гааз, практик-гуманист...* — Гааз Фридрих Иосиф (Федор Петрович, 1780–1853) родился близ Кёльна, в 1803 г. приехал в Россию. В 1828 г., бросив частную практику, стал старшим врачом московских тюремных больниц и всячески облегчал жизнь заключенных. Ссылные на свои средства поставили ему памятник в Нерчинске.

...*познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.* — С Н. Г. Михайловским (Гарин — псевд., 1852–1906) Горький познакомился в 1895 г. в Самаре, в доме судебного следователя Я. Л. Тейтеля.

С. 114. ...*в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни»...* — Очерки Гарина «Несколько лет в деревне» печатались в «Русской мысли» в 1892 г., №№ 3–6.

...*встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г...* — Гарин запечатлит эту первую встречу с Горьким в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» («Мир божий», 1900), изобразив Горького под именем начинающего писателя из народа Антонова: «По очереди, проходя через маленькую комнату, — расскажет Гарин, — я пожал руку господину средних лет... около которого сидело несколько молодых людей, и один из них, — с бледной рыбой некрасивой и изможденной физиономией, но с прекрасными глазами, которые тем рельефнее выдвигались и красотой

своей освещали его лицо, — что-то горячо говорил».

С. 115. *Косоротое* Александр Иванович (1868–1912) — драматург и беллетрист.

...*Николай Георгиевич строил ветку... от Самары на Сергиевские серные воды...* — Речь идет о строительстве Кратовско-Сергиевской железнодорожной ветки (1896—97).

...или *Витте...* — С. Ю. Витте — управляющий Юго-Западной железнодорожной сети — в 1880 г., в 1892-м — министр путей сообщения, в том же году — министр финансов, в 1903 г. — председатель кабинета министров, в 1905–1906 г. — председатель совета министров.

С. 116. *Первым браком... кажется дочери генерала Черевика...* — Первым браком Гарин был женат на Н. В. Чарыковой, дочери минского губернатора.

С. 118. *Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»...* — Книга Гарина «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», как и «Корейские сказки», вышла в 1904 г. у Горького в «Знании».

С. 119. *Гусев Сергей Сергеевич (Слово-Глаголь — псевд., 1854–1922).* Горький познакомился с ним в феврале 1895 г. по приезду в Самару. После ухода Гусева из газеты к Горькому и перешла рубрика «Между прочим».

...легенду эту использовал старинный романист *Рафаил Зотов*. — Зотов Рафаил Михайлович (1795–1871), сын татарского аманата, подаренного графу Ланскому по взятии Бахчисарая. Автор многих исторических романов: «Наполеон на острове Елены», «Два брата, или Москва в 1812 г.» и т. д. Упомянутая легенда была использована Зотовым в романе «Цин-киу-Тонг, или Три добрые духа тьмы» (1840).

...умер в настроении *Тимона Афинского...* — Тимон Афинский (V в. до н. э.) — греческий философ, был мизантропом.

С. 121. ...афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — все». — Бернштейн Эдуард (1850–1932) — лидер крайнего оппортунистического крыла немецкой социал-демократии и II

Интернационала, теоретик ревизионизма и реформизма. Упомянутый афоризм Бернштейна В. И. Ленин считал выражением самой сущности ревизионизма (См.: В. И. Ленин. Поли, собр. соч., т. 17, с. 24).

...так излечился один из героев его книги «Студенты». — Этот эпизод был в первом отдельном издании романа (1898), но затем автор снял его.

С. 122. *Савва Мамонтов, строитель Северной дороги...* — Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) — московский купец, меценат, строил Московско-Ярославскую ж. д., создал на свои средства первый частный оперный театр в Москве, в его имении в Абрамцеве подолгу жили и работали и артисты и художники.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи... — Гарин вернулся в Россию в конце 1898 г., после предпринятого им кругосветного путешествия. Был участником научной экспедиции в неисследованные районы Северной Кореи и Маньчжурии.

...в Аничков дворец, к вдовствующей царице... — Марии Федоровне, вдове Александра III.

...великий Сибирский путь... Россия выезжает на берега Тихого океана... — Речь идет о Сибирском железнодорожном пути от Челябинска до Владивостока. В 1891 г., еще в царствование Александра III, Гарин был назначен начальником партии по производству изысканий Западно-Сибирского участка этого пути.

Молодая... — Александра Федоровна, жена Николая II.

С. 123. *...подписал протест против избиения студентов и публики... у Казанского собора.* — Протест относится к 1901 г. Здесь и несколько далее Горький совместил события, относящиеся к разным годам.

...Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину... 15 или 25 тысяч рублей... — Деньги, 25 тысяч, пошли в значительной мере на покупку газеты «Новая жизнь», которая издавалась в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 г. при ближайшем участии Горького. После возвращения в Россию В. И. Ленина газета выходила под его непосредственным руководством. Гарин вторым браком был женат на В. А. Садовской, которая

в 1904—05 гг. принимала деятельное участие в работе большевиков в Москве. В квартире Гарина на Спиридоновке была большевистская явка, хранилась нелегальная литература. Сама Садовская печатала для мимеографа «воцанки».

...заседали с П. М. Гутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. — Гутенберг Петр Моисеевич (1878–1942) — инженер, деятель партии эсеров. Друг Гапона и организатор его убийства. Эмигрировал из России. Е. Ф. Азеф, один из организаторов и руководителей партии эсеров, в 1905 г. выдал почти весь состав боевого комитета эсеров по подготовке вооруженного восстания в Петербурге, тогда же был избран в боевой комитет и открыл полиции план восстания. В 1908 г. снова выдал всю боевую организацию эсеров и ее летучий боевой отряд — семь человек были казнены. Хотя слухи о предательстве Азефа стали проникать в партийные крути с 1902 г., то есть с самого начала его провокаторской деятельности, разоблачен он был только в 1908 г. После разбирательства дела ЦК партии эсеров приговорил Азефа к смерти (судьями были — Г. А. Лопатин, В. Н. Фигнер, П. А. Кропоткин). Но он успел скрыться. Н. Ю. Татаров в 1905 г., о котором идет речь, входил в ЦК партии эсеров, служил в охранке. По приговору партийного суда был убит спустя год членом боевой группы партии эсеров.

Салтыков С. Н. — позже — член социал-демократической фракции II Государственной думы. Бенуа Василий Леонтьевич — большевик.

С. 123–124. ...еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. — И. В. Доброскок оказался провокатором.

С. 124. ...поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. — Петров Николай Петрович — член ЦК гапоновской организации, председатель Невского района 7-го отдела «Собраний русских фабрично-заводских рабочих», был одним из друзей Гапона. В феврале 1906 г. он напечатает в газете «Русь» письмо-обращение к рабочим с разоблачением попа Гапона, приведя конкретные факты, подтверждающие, что он обманывал рабочих, получая деньги для общества от председателя совета министров С. Ю. Витте.

...и умер «на ходу», — участвовал в каком-то заседании по литературным делам... — «На ходу» — так назывался один из очерков

Гарина. 27 ноября 1906 г. Н. Г. Гарин-Михайловский участвовал в редакционном заседании большевистского журнала «Вестник жизни», где между ним и А. В. Луначарским разгорелся горячий спор — может ли в данных условиях возникнуть литература, отражающая взгляд пролетариата на мир, или создателями ее должны стать сами рабочие. Во время заседания Гарин умер от разрыва сердца.

[А. Н. АЛЕКСИН]

Написано, очевидно, вскоре после получения Горьким известия о смерти А. Н. Алексина, последовавшей 16 ноября 1923 г. Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1941, № 6.

А. Н. Алексин умер так же легко и просто, как жил. Мне рассказали, что часа за два до смерти своей он пришел к себе в санаторию настроенный бодро, весело и, как всегда, начал шутить с больными, поддразнивать их. Вероятно, он говорил им то же самое, что говорил мне двадцать семь лет тому назад, в начале нашей крепкой дружбы.

Он как бы стыдился своего ума. Он часто повторял:

— Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного.

Он старался побороть это уныние, внушая больному бодрость грубовато-добродушным издевательством над страхом смерти, и всегда достигал желаемого: больной в своей борьбе за жизнь чувствовал в этом докторе умного и верного союзника.

В свой последний день он вышутил больных за то, что, боясь весенней свежести, сидели закрыв дверь в парк, сам открыл дверь, сел обедать с больными, а когда ветер притворил дверь, он, выругавшись, хотел встать со стула и почувствовал, что у него отнялась нога.

— Это, кажется, кондрашка, — сказал он и лишился сознания.

Все, кто знал Александра Алексина, согласятся, что это был человек интересный и, по-русски, разнообразно талантливый. К медицине он относился несколько скептически; возможно, что именно поэтому он так удачно лечил. Это был идеальный русский земский врач, «мастер на все руки», хирург и гинеколог, окулист и «спец» по туберкулезу. Его интуиция в деле распознавания болезней была поразительна. Помню — московская купчиха привезла в Ялту сына, девятилетнего мальчика, у него болела голова, он страдал рвотой, часто под влиянием боли кружился на одном месте, на его мучнисто-бледном личике тускло светились серые глаза о расширенными очень жутко зрачками. Три доктора — Бородулин, старик Штангеев, автор солидной книги «Лечение легочных болезней», и еще кто-

то — определили менингит. Алексин не согласился с их диагнозом.

Его плотная, несколько тяжелая медвежья фигура, грубоватое лицо, прямой, пристальный взгляд умных, насмешливых глаз и малословная, резковатая речь всегда возбуждали в людях доверие к нему, женщины же особенно легко подчинялись влиянию его воли, как бы сразу чувствуя его духовное и физическое здоровье. Мать больного мальчика, узнав, что Алексин не согласился с диагнозом коллег, привела к нему мальчика, это было при мне:

— Я верю вам, лечите его.

Он угрюмо предупредил ее, что хотя и не согласен с товарищами в определении болезни, но не понимает ее. Мать плакала, кричала, пыталась даже встать на колени, у нее были совершенно безумные глаза, дрожало лицо, она щелкала зубами. Подняв ее с пола, мы положили на диван, А[лексин] дал ей вина с водой, наговорил ей, попутно, грубостей, — он часто грубил, чтоб скрыть свое волнение, — потом сказал:

— Ну, не кричите! Прошу понять: врачи не делают ни чудес, ни фокусов.

Помню, как неприятно поразило меня его дальнейшее поведение, он обращался с мальчиком так, что напомнил мне описания шаманства: громко шмыгая носом, — его привычка в затруднительных случаях, в моменты смущения, — сидя в кресле, отчаянно дыша дымом папиросы, он заставил больного бегать по столовой, потом, зажав его в коленях, начал говорить с ним о каких-то детских пустяках, пощекотал под мышками, заставив мальчугана визжать. Мать спросила о чем-то, он грубо ответил:

— Это не ваше дело.

Он увел мальчугана в кабинет к себе, вызвал там у пего обильную рвоту, и мальчуган, давясь, изрыгнул целый ком глистов.

— Гришка, — орал Алексин, испачканный, возбужденный до смешного, расталкивая стулья, — убирай!

А мальчик, извиваясь на коленях матери, стонал в приступах рвоты и все извергал глисты, — отвратительно было видеть обилие их.

Вечером, когда мы пили вино, я спросил:

— Как ты узнал, что это глисты?

— Да я не узнал, а — попробовал, — . сказал он, усмехаясь.

Был страшно обрадован и рассказал мне, что известный гинеколог Снегирев предложил ему проводить в Москву, в клиники на операцию, даму, у которой он констатировал внематочную беременность.

— Еду я с ней и, знаешь, не верю в эту беременность, а она как на смерть собралась. Я и говорю ей: «А я вот не верю в вашу болезнь». В то

время я был молодой еще, практиковал всего пятый год, однако она, вижу, слушает меня с надеждой. «Дайте, говорю, осмотреть вас». Согласилась. Остановились в Курске в гостинице, стал я осматривать ее и нечаянно прорвал нарыв на матке. Вот — испугался! «Ну, думаю, убил бабу». А она, вижу, превосходно чувствует себя. Пролежала четверо суток, поехали дальше. Привез я ее не в клинику, а к мужу, он мне — полторы тысячи гонорария отвалил. Пили, конечно, с ним дня три по всем кабакам. Снегирев обиделся: «Вы, говорит, дерзки, молодой человек, могли убить ее». Ну, конечно, мог...

Таких случаев не мало было в его практике, вообще крайне удачной. Профессор] Бобров, хирург, несколько раз приглашал его на консультации, и А[лексин] помогал ему даже на операциях.

— Ваш приятель — удивительно счастливый врач, — говорил мне Бобров, — у него совершенно исключительная интуиция, не знаю врача, у которого так тонко было бы развито чутье особенностей индивидуальности каждого больного.

Так же высоко оценивал талантливость Алексина дерматолог Ш., сифилидолог Тарновский.

— Пора бы вам, батенька, на кафедру, в университет, лентяй вы, да-с!

А. П. Ч[ехов] очень уважал Алексина как человека, но, должно быть, чувствуя, что этот человек не любит его, говорил:

— Ему слонов лечить, а не людей.

Видел я, как этот грубый вологодский мужик плакал от радости. В амбулаторию к нему гречанка принесла трехлетнюю девочку с огромным нарывом на шее, девочка умирала, лицо у нее было синее, глаза, синенькие и жалобные, закатывались, дыхание короткое, жадно хватающее воздух. Выхватив ребенка из рук матери, Алексин погрозил ей кулаком, крича:

— Ты бы, дура, еще подождала прийти, у-у? — И непозволительно обругал всех греков, включая древних, а потом начал орать:

— Софья — стол!

Огромная, уродливая, старая, — великолепная душа, — Софья Витютнева живо приготовила все потребное для операции, и А[лексин] тотчас же, рыча, дико ругаясь, начал резать шею ребенка. Тут был действительно потрясающий момент: когда облитая обильным гноем и кровью грудка девочки высоко поднялась, вздохнув свободно, и мертвенная синеватость лица стала исчезать, и полузакрытые глазки ее вдруг открылись, заблестели радостью возвращения к жизни, — из дерзких, насмешливых глаз ее спасителя полились слезы, он крикнул, не скрывая восторга:

— Софья, вытри мне морду, видишь — пот!

Она, улыбаясь, вытерла глаза и щеки его рукавом халата, отвернувшись, чтоб скрыть свои слезы, а доктор, накладывая повязку, бормотал:

— Что? Мигаешь? Ага-а. То-то...

Потом, вымыв руки, одною рукой сунул гречанке три рубля, а другою, дергая ее за ухо, сказал:

— Следи за ребенком, следи, блоха!

Через несколько дней я зашел к нему в больницу, он держал веселую, черноволосенькую, синеглазую девочку на коленях у себя, играя с нею; он хвастливо, с гордостью сказал:

— Вот она! Видишь — какая?

А идя со мною по набережной Ялты в сад, он говорил:

— Дать жизнь ребенку — это и дурак может, а вот вырвать человечка из лап смерти — это может только паука.

Я несколько раз присутствовал при его операциях, он делал их всегда, исключая случай с девочкой, хладнокровно и даже с некоторой щеголеватостью мастера, уверенного в своем искусстве.

— Хуже всего переносят боль греки, затем наши крестьяне, терпеливее — татары, — говорил он.

Был он добр, хорошо, по-мужицки, незатейливо умен, очень терпимо относился к людям и небрежно к себе. Любил музыку, хорошо знал и понимал ее, играл на пианино и, обладая хорошим голосом, нередко с успехом пел в «благотворительных» концертах. Книг читал мало, даже и по своей специальности, а в часы отдыха любил читать ноты; ляжет на диван, почему-то сняв один ботинок с ноги, возьмет Бетховена, Моцарта, Баха или какую русскую оперу и читает, молча или напевая с закрытым ртом. Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

— Избыток хотя бы и драгоценных камней — уже пошлость, — говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьем эстетики сексуализма, и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнерше, с которой ему предречено спеть дуэт во славу радости жизни.

Его первой женой была очень известная в свое время концертная певица контральто Якубовская, она умерла после родов; он говорил о ней

всегда с печалью и морщась при воспоминании о той глубокой боли, которую причинила ему смерть, похитив женщину.

— Я, знаешь, решил идти на сцену, но, когда она умерла, сказал себе: нет, буду лечить людей.

Он лечил композитора Калининкова, безнадежно больного.

— Умрет, черт возьми, — говорил он, крепко потирая лоб. — Невыносимо досадно, а спасти — нельзя. Знал бы ты, какой это талант... Если б я встретил его месяца на три раньше, можно бы протянуть несколько лет. А теперь ткань легких расползается у него, как гнилая тряпка.

Был он сын сельского попа Вологодской губернии, в университет пошел против воли отца.

— Говорю ему: «Отец, я хочу в университет, учиться». — «Прокляну!» — «Серьезно?» — «Как бог свят — прокляну!» — «Что же — проклинай». Не проклинал, хотя был мужик твердого характера.

Был у него слуга Григорий, черноволосый тамбовский мужик, очень умный и влюбленный в доктора, как нянька в ребенка. Часто вечерами он приходил в кабинет Алексина и спрашивал, стоя в дверях:

— Можно с вами поговорить?

— Иди, садись, черт.

Григорий садился на диван у ног Алексина и заводил философическую беседу:

— Не понимаю я, Александр Николаевич, какой у бога расчет детей морить? Економии не вижу я в этом...

Комментарии

С. 125...в начале нашей крепкой дружбы... — С Александром Николаевичем *Алексиным* (1863–1923) Горький познакомился в феврале 1897 г. в Алушке, Алексин лечил больного туберкулезом Горького. В то время он был старшим врачом ялтинской земской больницы.

С. 125–126. ...*Бородулин, старик Штангеее, автор солидной книги «Лечение легочных болезней»*. — *Бородулин* Василий Андреевич — врач-терапевт. *Штангеее* Ф. Т. — автор книги «Лечение легочной чахотки в Ялте» (1886). Работал в крымских туберкулезных санаториях. Лечился у него и Горький.

С. 127. *Снегирев* Владимир Федорович (1847–1916) — профессор Московского университета, один из основоположников русской научной оперативной гинекологии. *Бобров* Александр Алексеевич (1850–1904) — профессор Московского университета, председатель Московского хирургического общества. С 1902 г. почетный член Ялтинского отделения Русского общества охранения народного здоровья — им был организован в Крыму туберкулезный санаторий для детей. *Тарновский* Вениамин Михайлович (1837–1906) — профессор Петербургской Медико-хирургической академии, один из основоположников русской венерологической школы.

С. 128. *Витютнева* Софья Федоровна (1850 —ум. после 1910) — фельдшерица ялтинской больницы, близкий друг семьи Пешковых. Витютнева с ведома доктора Алексина скрывала в больнице нелегальных, а после подавления на броненосце «Потемкин» восстания — бежавших матросов.

С. 129. *Якубовская* Анна Антоновна (1863–1890) — артистка Большого театра.

... *сказал себе:...буду лечить людей...* — При непосредственном участии Алексина архитектором П. П. Малиновским был построен в Москве, в Сокольниках, туберкулезный санаторий (ныне санаторий имени доктора Алексина).

А. П. ЧЕХОВ

Написано в связи с кончиной А. П. Чехова, наступившей 2 июля 1904 г. Впервые напечатано в «Нижегородском сборнике» («Знание», Спб., 1905 г.) под названием: «А. П. Чехов. Отрывки из воспоминаний», чуть ранее очерк вышел отдельным изданием в Берлине. Продолжение воспоминаний было опубликовано в журнале «Беседа» — 1923, № 2 — как часть цикла «Из дневника». Наконец все целиком увидело свет в кн.: Горький М. Воспоминания. Берлин, «Книга», 1923, — под общим названием «А. П. Чехов».

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым

человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал: — Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чѐм-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю всё дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова. — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кое-

кто бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — двадцать рублей... а школа погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикий

раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбы зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самым собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простои, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно побеседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предомной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них

карикатурно выходит, мертво... А фотографиию вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этикие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в

толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь... По-латыни она называется *morbus pritvorialis*.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого.

Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится: — Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет... Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости... И, когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитав его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромн, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоящей необходимости для них

быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынно и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суестью. Вот тревожно, как серая

мышь, шмыгает «Душечка», — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишённые силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Солёный от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздаётся выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском

наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятли два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околотовый на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и не поэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бесцветной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее

были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

*Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко быдохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церквы бы строил да сады всё сажил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я же ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да накладно будет — самому дорога!*

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом

«смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку» — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место

полицмейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода. Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержицкого, — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековушки», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево.

Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклони голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб сладко питает.

Комментарии

С. 130. *Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой...* — В декабре 1898 г. Чехов купил дом и небольшой участок земли (три десятины) близ деревни Кучук-Кой, на Южном побережье Крыма, верстах в 40 от Ялты. Чехов привез сюда Горького 4 апреля 1899 г. Незадолго до того состоялась их первая встреча. Горький получил от Чехова в подарок только в том году вышедшую книгу Чехова, куда вошли «Мужики» и «Моя жизнь» — с дарственной надписью: «Алексею Максимовичу Пешкову-Горькому на память о нашей встрече в Ялте, 19 марта 1899 г. Антон Чехов». Этому состоявшемуся, наконец, личному знакомству предшествовала переписка, начало которой восходит к октябрю — ноябрю 1898 г. Тогда Горький прислал Чехову с письмом свой двухтомник «Очерки и рассказы» и попросил высказать свое мнение о нем. Чехов высоко отозвался о даровании Горького («Вы художник, умный человек, Вы чувствуете превосходно, Вы пластичны... Это настоящее искусство») и пожелал увидеться с ним. «Не приедете ли Вы в Крым? — спрашивал он Горького в письме от 18 января 1899 г. — Если Вы больны (говорят, что у Вас легочный процесс), то мы бы Вас полечили тут». 19 марта Горький прибыл в Ялту, — испросив предварительно на то соизволения нижегородского жандармского управления, поскольку состоял под надзором полиции, — сроком на два месяца под предлогом необходимости лечения.

С. 131. *...значит — старею!* — К моменту прихода Горького в литературу Чехов считался самым молодым из известных беллетристов. В 1899 г., когда они встретились в Ялте, Чехову только что исполнилось 39 лет (р. 1860), Горькому — 31 год.

С. 134. *Но кто же победит? Греки или турки?* — Война между Грецией и Турцией происходила в 1897 г.

С. 138. *...Скабичевский... написал, что я умру в пьяном виде под забором...* — Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) в рецензии на книгу Чехова «Пестрые рассказы» (1886), напечатанной в «Северном вестнике» — 1886, № 6, — нарисовал печальную перспективу деградации даже и талантливого газетчика-юмориста, который тратит все свое дарование на уселение публики и, превратившись в выжатый лимон,

умирает в полном забвении где-нибудь под забором или, в лучшем случае, в одной из городских больниц, если его пристроят туда товарищи за счет литературного фонда. «Вот и г. Чехов, — продолжал критик, — как жалко, что при первом же своем появлении на литературном поприще он сразу записался в цех газетных клоунов...»

с. 141. ...это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать... — Иванов — главный герой пьесы Чехова «Иванов», Треплев — один из персонажей «Чайки».

Пятый день повышена температура... — Так начинается дневниковая запись, включенная Горьким во вторую часть очерка.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою... — Горький процитировал по памяти статью В. Викторова, опубликованную к десятой годовщине со дня смерти Чехова в «Голосе Москвы» (1914, июль). Очевидно, вся эта дневниковая запись сделана тогда же или чуть позже.

Часть небольшой толпы... — Еще при жизни Горького ему указывали на то, что в дальнейшем описании встречи гроба А. П. Чехова в Москве и следования процессии к Новодевичьему монастырю, есть неточности. Горький с этим не соглашался. «Я ехал из Петербурга в одном поезде с гробом... — писал он одному из своих критиков в 1923 г. — Толпа, встретившая гроб на вокзале, — не превышала — на мой взгляд, сотни человек, в большинстве это были артисты Художественного театра. Другая часть толпы, видимо, по ошибке, — встречала гроб графа Келлер. В Камергерском переулке действительно гроб был встречен сотнями людей, но «многотысячной толпы» не было и на Девичьем кладбище» (М. Горький и А. Чехов. Сб. материалов. М., 1951, с. 168–169). Не исключено, что в воображении Горького сместились две встречи: гроба Чехова в Петербурге 8 июля (немногочисленная) и в Москве 9 июля. Косвенно подтверждает этот факт, что 8 июля 1904 г. на Варшавский вокзал в *Петербург* из Парижа было доставлено тело генерала Н. Н. Обручева. А генерал-лейтенант Ф. Э. Келлер, по сообщению «Нового времени», был убит 18 июля того же года, то есть после похорон Чехова.

С. 142. *Маклаков Василий Алексеевич (1870–1959)* — московский адвокат, присяжный поверенный Московской окружной судебной палаты, член Государственной думы, кадет.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов... — С редактором «Нового времени» А. С. Сувориным Чехов был долгое время в тесных дружеских отношениях.

Писатель активного настроения — например, Джек Лондон... — В тридцатых годах Горький скажет о Джеке Лондоне с известной долей скептицизма, как о писателе, любившем изображать «волевые натуры» среднего качества.

С. 143. *В хлопотах о постройке дома в Аутке...* — В марте 1897 г. у Чехова открылось сильнейшее легочное кровотечение. Он впервые подвергся обследованию врачей. Было неопровержимо установлено — туберкулез легких. Приходилось менять весь образ жизни. Настала пора прощаться с Мелеховом, надо было перебираться в Крым. Дача в Аутке, недалеко от Ялты, строилась с таким расчетом, что жить тут будут всей семьей — мать, сестра...

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев»... — Замысел возник у Горького, по его словам, после того, как в руки его попали иллюстрации А. П. Рябушкина к былинам — очевидно, альбом «Русские былинные богатыри», изданный в качестве приложения к журналу «Всемирная иллюстрация» (1893).

С. 144. *Лазаревский Борис Александрович (1871–1936)* печатался в «Русском богатстве» и «Ниве», Горький относил его к эпигонам Чехова. И. Ф. Олигера Горький считал человеком не бесталанным, но и в нем отмечал зависимость от литературных авторитетов, на этот раз — от Леонида Андреева.

С. 145. *...Сулер живет у него...* — Сулержицкий жил у Горького в Оленино, на даче «Нюра», с конца 1901 г. до начала апреля 1902-го.

...в чужую ему, Ханаанскую землю... — По Библии, земли в Палестине, где жили ханаанские племена.

...около Толстого нет Эккермана... — Эккерман Иоганн Петр (1792–1854) — писатель, литературный секретарь Гёте. При жизни Гёте готовил к изданию его собрание сочинений и вел за ним записи, которые затем издал как «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» — в трех томах. В

русском переводе записи вышли в 1891 г. под названием «Разговоры с Гёте». Книгу эту Горький хорошо знал, имел ее, хранил и очень сожалел, когда, вернувшись в Россию из Италии в самом конце 1913 г., обнаружил, что она пропала.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Впервые опубликовано — в неполном виде — в сентябре — октябре 1919 г. в газете «Жизнь искусства», и тогда же вышло отдельным изданием: Горький М. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Пб., Изд-во З. И. Гржебина, 1919. Полностью впервые напечатано в кн.: Горький М. Воспоминания. Н. Е. Каронин-Петропавловский. А. П. Чехов. Лев Толстой. М. М. Коцюбинский. Леонид Андреев. Берлин, «Книга», 1923.

Эта книжка составила из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжело больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написан тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький.

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем

хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на такого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к

анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твоё где попало, как кобель. Подумай seriously и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синее, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так уколошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь

рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души^[8].

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя —

иногда — любит его, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает таи, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться á sa façon»^[9]. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих

странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

*...не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —*

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикуль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямоотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или

уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что

знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?

Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить

множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня

способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищулив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая? Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда ли — странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?..

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно искажил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» —

безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». — И залился

детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова, — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-то есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?
— Вы любите вашу жену?
— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?
— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной валах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в труди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая

женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом....

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, незащищенные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тебе! Ти — им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины: «Слова «гильчак», «почечуй», «спускать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. Л все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, — гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит

образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас замечен петушиный наскок на все. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок, — оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцеви́тая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь.

А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, — «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже если вы и придумали, — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутым ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве... — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь.

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

*Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...*

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть... Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся

интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек

ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседа с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле

жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

ХLI

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

ХLII

Он не слушает и — не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

ХLIII

Разбирая почту.

— Шумят, пижут, а — умру, и через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то

случилось, — да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью, и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

ПИСЬМО

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не разъединенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, — уж вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего

человек, — человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочтаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», — он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей...

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом... В общем он, конечно, не Платон

Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, — взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем, — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова,

«что книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не понятны, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», — засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил: — А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но — далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, лъзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Л. Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, — люди холодные, ибо верую живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно такого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!» Увы, это так, надолго — так! И не могло и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее можно понять как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

— О «В[ойне] и м[ире]» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как «Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира,

навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно! гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели все насквозь, — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал

я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!» Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово, так: «Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужичья борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне... начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

И вдруг из-под мужичьей бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было

как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, — так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Ну-ну, — баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабанах, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу попятить, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться

стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтобы понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, избыточной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек,

доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные

свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обязательно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжело и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный, — правда? Что, Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана,

Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, по его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, — представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

*Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...*

— очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем, и, таким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, что Флеровский — высокий, длиннорослый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Доде — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось, — и думаю, я не ошибаюсь, — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удастся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдуманно. А когда выдумываете — у вас рыцари рождаются, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедный, но — солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, — «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., — он

с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там рождаются только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, — историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Л[ев] Н[иколаевич]!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы

нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал оп:

— Иду я, как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и все кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная

баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь, — ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, — ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать все, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — все улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы, проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьистее», говорят бабы... А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суеются и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы

Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно, — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, поддержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Л[ев] Н[иколаевич].

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он

влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек — богоподобен!»

Комментарии

С. 147...я...живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре... — Л. Н. Толстой (1828–1910) приехал в Крым 7 сентября 1901 г., Горький — 11 ноября. Толстой поселился в Гаспре, в доме графини С. В. Паниной, Горький — на даче Токмаковых «Нюра» в Олеизе. Из известных пятнадцати встреч Горького с Толстым одиннадцать приходятся на Крым. Первая встреча Горького с Толстым в Крыму состоялась 13 ноября 1901 г., последняя — 16 апреля 1902 г., когда Горький пришел проститься.

Мысль... точит его сердце, — мысль о боге. — Позже Горький скажет, что Толстой страдал от «не решенного им вопроса о бытии божием и «качествах» бога», так как «вопрос о бытии бога решал для него и вопрос об «инобытии» личном Л. Толстого», то есть бессмертии (Арх. Г., XIV, 440). Кроме того, в пору крымских встреч с Горьким Толстой заканчивал работу над статьей «Что такое религия и в чем сущность ее?».

Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. — Всю жизнь Горький питал неизменный интерес к Леонардо. Всего через пять-шесть лет, в 1907 г., он проведет месяц во Флоренции, на родине Леонардо, побывает в Палаццо Гонди, где тот писал свою «Джоконду». Затем предпримет специальную поездку в Париж, чтобы посмотреть «Мону Лизу» и «Венеру». Горький собирал книги о Леонардо. В его личной библиотеке сохранился «Трактат о живописи» самого Леонардо.

С. 148. *Чехова любит отечески...* — 30 ноября 1901 г., через две недели после приезда в Крым Горького, Толстой сообщал В. Г. Черткову: «Видаю здесь Чехова, совершенного безбожника, но доброго, и Горького, в котором гораздо больше fond (глубины. — Г. П.), несмотря на то, что его перехвалили».

...тощенькую брошюрку князя Кропоткина... — Имеется в виду: Кропоткин П. А. Анархия, ее философия и идеал. Женева, 1898.

С. 149. *Гольденвейзер играл Шопена...* — А. Б. Гольденвейзер бывал частым гостем Ясной Поляны. С 26 декабря 1901 г. по 9 января 1902 г. жил

в Крыму. С 1897 г. вел дневник, который был им позже издан под названием «Вблизи Толстого. Записи за пятнадцать лет» — (т. I, М., 1922; т. II, М., 1923). В соавторстве с Н. Н. Гусевым написал работу «Лев Толстой и музыка».

...не помирятся с Мендельсоном в церкви. — Б. Мендельсон в сороковые годы в Берлине занимал место директора церковной музыки.

...«В наше время чудес не бывает»... — По преданию, князь Владимирко Володаревич умер в 1152 г. «чудесной смертью», за нарушение клятвы.

С. 150. *...великий князь Николай Михайлович...* — Романов Н. М. был председателем Русского исторического общества, автором ряда исследований, относящихся к эпохе Александра I. Толстой встречался с ним в Гаспре и состоял — с перерывами — в переписке.

Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. — Толстой имеет в виду: Карамзин Н. М. — «История государства Российского»; Соловьев С. М. — «История России с древнейших времен»; Ключевский В. О. — «Курс русской истории». В 1902 г. вышли два первых тома «Курса...» Ключевского. В Карамзине Толстому не нравился «придворный тон», как он выразился; в Ключевском — исторические анекдоты-«шуточки».

Забелин Иван Егорович (1820–1909) — историк и археолог, один из создателей Исторического музея в Москве и его фактический директор с 1883 г. по 1908-й. Автор работы «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях».

С. 151. *Фридрих [...] даже Гёте и Виланда не любил. — Фридрих II Великий (1712–1786), прусский король (с 1740 г.), был галломаном, французскую литературу он любил больше, чем немецкую, при его дворе гостил Вольтер.*

...по поводу стихов Бальмонта... — К. Д. Бальмонт посетил в Гаспре Толстого дважды в ноябре 1901 г., затем писал ему, посылая свои книги.

С. 152. *Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки...* — Однако

о поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Толстой всего спустя три года отозвался с похвалою, заметив, что там есть места, из которых следует, что Некрасов истинно любил русский парод.

...вариант сказки о Христовом крестнике. — Вариант русской народной сказки, имеющейся в собрании А. Н. Афанасьева.

С. 153. *Читал ему свой рассказ «Бык»* — раннюю редакцию рассказа.

С. 154. *Сегодня в Миндальной роще...* — Роща находилась через дорогу от дачи «Нюра», где жил Горький, на берегу моря.

С. 155. *Вспоминается моя первая встреча с ним...* — Первая встреча Горького с Толстым состоялась 13 января 1900 г. Горького к Толстому привел В. А. Поссе.

...противоречие с «Крейцеровой сонатой»... — «Крейцера соната» Толстого вышла в 1891 г. До того многократно им переделывалась. Толстой снабдил ее послесловием, в котором объяснял своим читателям, что писал эту вещь с противоречивыми чувствами, сам не ожидал, что ход мысли приведет его к тому, к чему привел, ужаснулся своим выводам, но не верить им нельзя было.

С. 156. *Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892)* — французский писатель, философ, автор ряда работ по истории религии, в частности, — «Жизнь Иисуса».

С. 157. *...жена Андрея Львовича...* — Толстой Андрей Львович (1877–1916) — сын Льва Николаевича. Толстая Ольга Константиновна (1872–1951), первая жена А. Л. Толстого, сестра жены В. Г. Черткова.

С. 158. *Розанов Василий Васильевич (1856–1919)* — писатель, философ, один из основателей в Петербурге в ноябре 1901 г. «Религиозно-философских собраний». Критик, печатавшийся подчас в журналах, противоположных по направлению. Горький интересовался Розановым. Не раз обращался к его книге «Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского». В 1911 г. сообщал Е. П. Пешковой: «Переписываюсь с Розановым — поражена?.. Удивительно талантлив, смел, прекрасно мыслит и — при всем этом — фигура, м. б., более трагическая, чем сам

Достоевский. Уж конечно, более изломанная и жалкая. Часто — противен, иногда даже глуп, а в конце концов — самый интересный человек русской современности» (Арх. Г., IX, 124–125).

...были штундисты из Феодосии... — Штундисты — так в православии именуются христианские секты, не признающие православия и руководствующиеся только Библией. Возникли во второй половине XIX в. среди украинских и русских крестьян под воздействием переселенцев с Запада — протестантов.

С. 159. *...сын мой Лев — талантливый? — Толстой Лев Львович (1869–1945) — писатель, публицист.*

С. 161. *Вы согласны с Познышевым, когда он говорит... — Далее Горький излагает точку зрения героя «Крейцеровой сонаты».*

...в одном из его рассказов... — Рассказ «Поликушка».

...после Дженнера, Беринга, Пастера. — Дженнер Эдуард (1749–1823) — английский врач-эпидемиолог, Беринг Эмиль (1854–1917) — немецкий микробиолог, Пастер Луи (1822–1895) — французский микробиолог. Несколько лет спустя, рассуждая на тему медицины и возражая своему оппоненту, который в качестве аргумента в пользу науки сослался на Пастера: «А вот Пастер...», Толстой таким образом мотивировал свою позицию: «...Я восстаю против того, чтобы теперешняя наука (теперь смеются над кровопусканием, через 50 лет будут смеяться над бациллами) считалась непогрешимой истиной (она ведь меняется), и на меня нападают, что я противник науки; я же против лжи в науке».

С. 162. *...книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». — Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) был членом Исполкома «Народной воли». В 1883 г. после разгрома организации эмигрировал за границу, где в Женеве редактировал журнал «Вестник Народной воли». В 1888 г. отрекся от своих убеждений и в Париже напечатал названную брошюру. (В России она была опубликована в 1896 г.) Тихомиров написал покаянное письмо Александру III, получил прощение, вернулся в Россию и далее занимал твердые монархические позиции.*

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»... — Горький в это время

работал над пьесой.

Помните, у Андерсена... — Далее цитируется сказка Андерсена «Старый дом».

С. 163. *Вы «Плоды просвещения» знаете?* — Пьеса Толстого «Плоды просвещения» была в 1892 г. поставлена Малым театром.

С. 165. *Никитин* Дмитрий Васильевич (1874–1960) — домашний врач Толстых в 1902–1904 гг.

...Вы о чем говорили? — *О Плеве.* — В. К. Плеве в 1902— 04 гг. — министр внутренних дел и шеф жандармов.

С. 167. *Тертулиан* сказал... — *Тертуллиан* Септимий (ок. 160— после 220) — раннехристианский писатель.

С. 168. *...говоря с Таневым... о музыке...* — Сближение С. И. Танеева с семьей Толстых относится к 1895 г., когда Танеев по приглашению Толстого гостил лето в Ясной Поляне. Позже Танеев постоянно бывал у Толстых вплоть до 1908 г.

...о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр... — Свою теорию музыки Шопенгауэр изложил в работе «Мир как воля и представление». Толстой любил Шопенгауэра, часто ссылался на него. В частности, ему должна была импонировать мысль Шопенгауэра, что музыка могуча сама по себе и не нуждается ни в зрелищном, ни в словесном сопровождении.

С. 169. *...пришли телеграммы о «бегстве Толстого».* — В ночь на 28 октября 1910 г. Толстой покинул Ясную Поляну и в тот же день был в Оптиной пустыни, рассчитывая здесь передохнуть. На следующий день он уже — в Шамордине, в женском монастыре, где жила его сестра Мария Николаевна. Хотел было снять в деревне комнату, но в ночь на 31 октября, не простясь с сестрой, двинулся дальше... Известие об уходе Толстого пришло на Капри, где жил Горький, 3(16) ноября 1910 г.

И вот... вновь пишу. — Следует письмо Горького В. Г. Короленко, начатое 3(16) ноября 1910 г. и неоконченное, адресату не посланное, в своей первой части (до слов «Умер Лев Толстой») по собственному

ощущению Горького, — «злейшее». «Был взорван «бегством» Льва Николаевича», — так определит Горький свою непосредственную реакцию на уход Толстого в письме М. М. Коцюбинскому. И почти в тех же словах повторит Е. П. Пешковой: «Бегство» Л. Н. из дома, от семьи, вызвало у меня взрыв скептицизма и почти озлобление против него...» Причину взрыва недобрых чувств к Толстому, придавшего столь резкую страстность «злейшему письму», в наиболее краткой форме Горький изложил Коцюбинскому: «Был взорван «бегством» Льва Николаевича, поняв прыжок этот как исполнение заветного его желания превратить «жизнь графа Толстого» в «житие иже во святых отца нашего боярина Льва» (Г-30, 29, 137). «Ты знаешь, — объяснял он тогда же Пешковой, — как ненавистна мне эта проповедь пассивного отношения к жизни...» (Арх. Г., IX, 105).

С. 170. ...высказывал Евгению Соловьеву... — Е. А. Соловьев выпустил еще при жизни Толстого, в 1897 г., его биографию в серии «Жизнь замечательных людей» Ф. Ф. Павленкова: «Л. Н. Толстой. Жизнь и литературная деятельность». Книга сохранилась в личной библиотеке Горького с его пометами.

...они производили бы другое впечатление... — За четыре месяца до встреч с Горьким в Крыму Толстой записал в дневнике своем в чреде особо значимого: «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше — смертью».

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ»... — Здесь Горький соединил две статьи Толстого: «Об общественном движении в России» (1905) и «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам, народу» (1906). В статье «Об общественном движении в России», опубликованной в «Таймс», Толстой утверждал, что политическая борьба задерживает «истинный прогресс» и что «одним-единственным средством» уничтожения всех зол на земле остается «внутреннее религиозно-нравственное совершенствование отдельных лиц».

С. 171. Письмо мое было резко... — Горький укорял Толстого в том, что он «поторопился» заключить, что философия пассивизма, почерпнутая им у крестьян В. К. Сютаева и Т. М. Бондарева, «свойственна всему русскому народу», «есть сотни тысяч других мужиков, — утверждал Горький, — которых Вы не знаете...». «Вы давно остановились на высоте Вашей идеи о спасительности личного совершенствования — они ушли

далеко вперед по пути к сознанию своих человеческих прав, Вы потеряли их из виду, Вы не понимаете их, и у Вас нет права говорить о том, кто является их представителями, но — это не Вы, граф!» (Г-30, 28, 358).

С. 172. ...«арзамасский ужас»... — В 1869 г., будучи проездом в Арзамасе и ночуя в гостинице, Толстой испытал беспричинный ужас, о чем и писал С. А. Толстой: «Третьего дня... я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал». Горький определял «арзамасский ужас» как «ужас одиночества человека в космосе» — «ужас сознания человеком неизбежности его гибели как личности (Арх. Г., XII, 141).

...прочитав книжку Льва Шестова... — Точное название упоминаемой далее книги Л. И. Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» (Спб., 1900).

С. 173. ...по дороге ко мне в Арзамас... — Горький прожил в ссылке в Арзамасе с мая 1902 г. по август. Тому предшествовал арест в апреле 1901 г., за принадлежность к студенческому революционному кружку, — Нижегородская тюрьма, ходатайство Толстого перед министром внутренних дел П. Д. Святополк-Мирским об освобождении Горького...

Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти... — Отсутствием под рукой этих заметок, когда писалось «Письмо», объясняется повторение в нем некоторых сюжетов заметок.

С. 174. Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней... — Абдурахман-хан (1844–1901), эмир Афганистана. В 1901 г. вышла его «Автобиография», где он упоминает две недели, которые он в Самарканде, будучи изгнанником, проводил на охоте.

Тихон Задонский (Кириллов Тимофей Савельевич, 1724–1783) — автор религиозно-нравственных сочинений. Был воронежским епископом — уйдя на покой, жил в Задонском монастыре.

С. 175. Чайковский Модест Ильич (1850–1916) — драматург, переводчик, либреттист. Брат П. И. Чайковского.

Получена телеграмма... скончался. — 4(17) ноября в России и за границей распространилось ложное известие о смерти Толстого.

С. 178. ...*поэт Булгаков...* — Горький, очевидно, имел в виду *Ляпунова Вячеслава Дмитриевича* (р. 1873), тульского крестьянина-поэта. Он жил у Толстого в Ясной Поляне в качестве управляющего хозяйством, помогал в переписке рукописей. В Ялте лечился от чахотки. Здесь и умер в феврале 1905 г.

Он излагает им учение Лао-тце... — *Лаоцзы* (VI в. до н. э.) — древнекитайский философ, основатель даосизма, основы которого изложены в «Дао дэ цзине» («Книга о дао и дэ»). В основе даосской философии лежит представление о единстве мира и властвующих в нем законах. Пафос этой философии в слиянии с природой, в подчинении ее правильному и целесообразному круговращению, в растворении в ее гармонии. Толстой до середины перевел с английского и французского «Дао дэ цзин» («Тао те Кинг») — совместно с Е. И. Поповым. Перевод был издан в 1910 г. «Посредником», под заглавием «Изречения китайского мудреца Лао-тзе, избранные Л. Н. Толстым».

...получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого»... — «Отчет» об этих днях, когда известия об уходе, а потом смерти Толстого, сначала ложное, потом истинное, сменяли друг друга, — в письме Горького Е. П. Пешковой: «Взволнованный всеми этими думами (связанными с уходом Толстого. — Г. П.) я писал о них В. Г. Короленко, вдруг — телеграмма из Рима о смерти Л. Н. с просьбой дать «Новой антологии» статью о нем. Минут пять, м. б., я чувствовал себя как-то неопределенно — что ж? Неизбежное свершилось, да. А потом — заревел. Заперся у себя в комнате и — неутешно плакал весь день. Никогда в жизни моей не чувствовал себя так осиротело, как в этот день, никогда не ощущал такой едкой тоски о человеке. Плакал и писал В. Г. — единственному человеку и литератору, который способен понять — что случилось. Вечером явились корреспонденты и привезли известие, что — жив! Но — это меня не обрадовало. Стало легче, да, но предчувствие конца его осталось. В эту минуту, м. б., колец уже наступил» (Арх. Г., IX, 105). Л. Н. Толстой скончался 7(20) ноября 1910 г. на станции Астапово.

С. 179...*с учением Конфуция...* — *Конфуций* (551–479 до н. э.) — древнекитайский философ, основатель конфуцианства, этико-

политического учения.

...у фурьеристов учился думать, у Буташевича... — Ф. М. Достоевский входил в кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, где разделялись идеи социалистов-утопистов, в частности Шарля Фурье. В 1849 г. как участник кружка Петрашевского был арестован и приговорен к смертной казни, замененной четырехлетней каторгой, с отбыванием после нее военной службы в качестве рядового.

С. 180. *Толстая* Александра Львовна (1884–1979) — дочь Толстого. *Толстой* Сергей Львович (1863–1947) — сын Толстого, музыкант.

С. 181. *Гульбрансону* Олафу (р. 1873) принадлежит шаржированная зарисовка Толстого, сделанная для серии «Галерея знаменитых современников». Помещена была в сатирическом немецком журнале «Симплициссимус», в апреле 1903-го — марте 1904 г.

С. 183. *Вельтман* Александр Фомич (1800–1870) — романист и археолог, автор поэмы «Муромские леса», в состав которой входила известная песня — «Что затуманилась, зоренька ясная». *Стерн* Лоренс (1713–1768) — автор «Сентиментального путешествия по Франции и Италии», романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Толстой некогда переводил «Сентиментальные путешествия» — он по этой книге учился английскому языку. Книги Стерна были включены Толстым в список произведений, которые в юности произвели на него «очень большое» впечатление.

...счел нужным говорить со мной... языком площади и улицы... — А Толстой 16 января, на третий день после встречи, занес в свой дневник: «Записать надо: был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа...»

Второй раз я видел его в Ясной. — Здесь речь идет о третьей встрече — 8 октября 1900 г. Очевидно, эта встреча запомнилась Горькому потому, что и на этот раз, как в дни юности, он шел к Толстому за решением коренных вопросов бытия, снова в один из трудных моментов своей жизни.

Грибы сошли... — И. А. Бунин — «Не видно птиц...»

С. 184. ...рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви. — С Берви-Флеровским Горький познакомился в Тифлисе и путешествовал по Закавказью.

С. 185. Все эти ваши Кувалды... — Кувалда — герой рассказа Горького «Бывшие люди».

...«Мой спутник» — то не сочинено... — Ав «Моем спутнике» Горький как раз показал, до чего может довести непротивление злу насилием.

...все Амадисы и Зигфриды... — Амадис — герой испанского рыцарского романа XIV в., Зигфрид — древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» — (XII–XIII вв).

С. 186. Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи». Горький высоко ставил Гиббона. Позже писал: «...Гиббон был чудовищно талантлив и обладал качеством художника, редкой способностью оживлять прошлое, воскрешать мертвых» (Г-30, 26, 217). Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — русский историк, автор ряда монографий, в том числе: «Бунт Стеньки Разина», «Кудеяр». Горький в Костомарове более ценил исторического писателя, чем историка как такового. Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк.

...«Братья Земганно»... — Роман Эдмона Гонкура. О братьях Гонкур см. примеч. к с. 262.

Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итальянский психиатр и криминалист. Автор книги «Новейшие успехи науки о преступнике», вышедшей в России в 1892 г. Нордау Макс (Зидфельд, 1849–1923) — немецкий критик. В 1893 г. в русском переводе вышла его книга «Вырождение». Нордау трактовал вырождение в плане биологическом, как и Ломброзо.

Аретино Пиетро (1492–1557) — итальянский поэт, побочный сын дворянина Луиджи Баччп, фамилию взял себе по городу Ареццо, где родился. Автор комедий и сонетов, в том числе скабрёзного характера. Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский авантюрист.

Скитался по Европе, был и католическим священником, и дипломатом, агентом тайной полиции, и переводчиком Гомера. В книге мемуаров он описал свои похождения, как и свои многочисленные любовные связи. *Калиостро* Александр (Бальзамо Джузеппе, 1743–1795) — итальянский авантюрист. Родился в Палермо, воспитывался в монастыре, совершив кражи, бежал. Близко сошелся с немецкими масонами, получал от них большие средства. Свое богатство объяснял тем, что владеет философским камнем. Преподавал алхимию, лечил. Объездил всю Европу, жил и в Петербурге. Умер в крепости, где был заточен пожизненно по повелению римского папы.

...А *Гарибальди*? — Горький в 1916 г. намеревался писать жизнеописание Джузеппе Гарибальди для планируемой им биографической библиотеки издательства «Парус». Горькому импонировала бескорыстность Гарибальди и его «одержимость» в борьбе за идею — освобождение Италии от гнета Австро-Венгерской монархии.

С. 187. *Богомилы* — христианская секта, которая восходит еще к X в.

С. 190. *Вы родились верующим, и нечего ломать себя...* — По свидетельству мисхорского врача К. В. Волкова, Толстой в то время терял еще надежды на «обращение» Горького, полагая, что он, как человек из народа, должен быть наиболее восприимчив к его идеям. В дни встреч с Горьким Толстой записал: «Так ясно видна ближайшая задача жизни. Она в том, чтобы жизнь, основанную на борьбе и насилии, заменить жизнью, основанной на любви и разумном согласии. И огромный материал, который должен быть духовно переработан для этого, лежит нетронутым в рабочем народе всех рас и вер». Однако уже вскоре стало ясно и Толстому, что надежды безосновательны. За крымскими встречами с Горьким последовала затем всего одна. Ход общественной жизни разводил Горького и Толстого в разные стороны. Социальная педагогика Толстого оказалась резко неприемлемой для Горького. Но глубокое равнодушие к Толстому, пристальное внимание к нему как человеку («сложному, противоречивому и во всем прекрасному»), как к проповеднику ненавистных Горькому идей — эта сложная смесь любви-вражды к Толстому сохранилась у Горького на всю жизнь. До конца дней он продолжал вести с ним внутренний спор о судьбах России, додумывать Толстого, сверяя свои выводы со всем, что выходило — Толстого и о нем.

О С. А. ТОЛСТОЙ

Написано в январе 1924 г. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, № 5.

Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения — опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.

Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее — Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же — я думаю — для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал: «Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения».

Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неумоимо «пеняем» друг на друга потому, что человек человеку — зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чуда творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, — об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное,

радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми, — что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:

«Русская женщина — вот лучшая женщина мира!»

Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:

«Вот — р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»

Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг Друга.

Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить, и, не чуждые — в этом случае — чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, бесспорно — приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение — самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей — лучше, жизнь — гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жадой мести и лицемерием нашей

морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но — не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще — как паразитов.

Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в «Дневнике» 52 г. он записал об одном знакомом своем:

«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».

Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова, — он печатал статьи эти в «Православном обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора Казанской

духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.

Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка поэта Булгакова, обласканного ее мужем; Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому — и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.

Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили — по-видимому — и до людей «простого сердца», — бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфет и пирожных:

«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика...»

Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное — если

не ошибаюсь — «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размахисто начертал на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:

«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражении гнева, впрочем справедливого».

Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен дикой злобой цирюльника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях» — произведений, незадолго пред этим впервые прочитанных мною.

По донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».

Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему — да и никому — не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить — молчанием.

Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они — как принято думать — портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, один — своей тупостью, другие — озорством, третьи — карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец — жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее.

Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум

творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время, особенно в пустой голове».

Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа — потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, — только этим борением двух начал в духе его можно объяснить, почему он сказал:

«...сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой он сказал:

«Ум, слишком большой, противен».

Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.

В последние дни своей жизни он писал, что:

«Живо почувствовал грех и соблазн писательства, — почувствовал его на других и перенес основательно на себя».

В истории человечества нет другого, столь печального случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих художников мира, который пришел бы к убеждению, что искусство, — самое прекрасное из всего, достигнутого человеком, — есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, — роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как

обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги, — этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как Софья Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма», — между прочим, автор интересного исследования о Аполлонии Тианском, — провозгласил:

«Сапоги — выше Шекспира».

Конечно, София Толстая неизмеримо более, чем кто-либо иной, была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти наново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир, не существовавший до него, — можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того чтоб как можно более усложнить путаницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали бы более оригинальны, если б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось что, «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было бы больше «философии» и меньше гармонии, если б в нем не чувствовалось влияния женщины. И, может быть, именно по настоящию

женщины философическая часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рождает философов. Было бы еще лучше, если б женщины рожали только художников. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом темных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в красивых коробочках, — это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» — это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру, — искусство и все великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастья, сопряженные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем — необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия — жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, — мир был бы счастливее, люди — благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все, питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пищей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как паразитивные лишай на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцерова соната», но я помню, как нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет от роду, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал вздохнув:

— Эх, зря состарился рано я! Вот — барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в

«Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдержать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязенькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циничское стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримую огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала страшает публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, — тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софии Толстой, порою — комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен померяться с его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней — все это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено

шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренне сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей, — каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые дни, — как, впрочем, всегда во дни несчастий, — ветер злой пошлости надел в дом огромное количество всякого сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищулив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, умением всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. * Задыхался и хрипел муж Татьяны Толстой, — у него было больное сердце. Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный. Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и однажды играл у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?». Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, человек музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея Толстого несомненное влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были мало приятны друг другу, и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дизентерией уже тогда, когда отец ее выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который

спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее не попал номер «Нового времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой-сын печатал некоторые рассказы свои в той же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеял его, именуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев», и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Желтый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу, и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это — не шутка, таково было задание романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресение» Толстого-отца, причем рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, которые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как донос.

Я говорю обо всем этом не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее поведение во дни аграрной революции пятого-шестого годов. Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем

более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист, должен был уйти или лучше бы сделал, если б ушел из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты, — вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был вполне нормален психически^[10]. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий не любил Софью Андреевну Толстую. Но — вот как он рисовал себе ее поведение в девятьсот пятом — шестом годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят березовую рощу, посаженную его руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который — она знала — ей влетит. Не зная, не учсть этого — она не могла, она умная женщина. Но — все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда — рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю все-таки, что ее молча принудили сделать этот шаг. Но — все это неважно, был бы цел сам Толстой».

Немножко зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого — верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что рощу-то ему все-таки было жалко. Она — дело его рук, его личного труда. Тут уже возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждебным ему.

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставленного опыта

уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и вот видим, как темный, проклятый инстинкт этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой — великий человек, и нимало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов — что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе — страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людьми, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и все.

Комментарии

С. 191. ...книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым... — Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) — ближайший друг и единомышленник Толстого, много сделавший для распространения и пропаганды запрещенных царским правительством сочинений Толстого, находился в постоянной вражде и борьбе с Софьей Андреевной — за наследие Толстого, — еще при его жизни. Это противостояние продолжалось и после смерти Льва Николаевича и нашло выражение в книге Черткова «Уход Толстого» (1922), где всю ответственность за уход и смерть Толстого он возлагал на Софью Андреевну. Когда старшая дочь Толстого прочитала эту книгу, она отозвалась о ней как о сочинении, где факты верны, но подобраны столь тенденциозно, что в итоге это «правда, в которой нет правды».

...опорочить умершую Софью Андреевну Толстую. — С. А. Толстая (р. 1844) умерла 1 ноября 1919 г.

...скоро выйдет в свет еще одна книжка... — Горький имел в виду второй том книги А. Гольденвейзера «Вблизи Толстого» (1923), посвященный целиком 1910 г. Яснополянская трагедия расписана была в нем очень подробно. Характерно, что две эти книги — Черткова и Гольденвейзера — соединились не только в сознании Горького. Приведенный выше отзыв дочери Толстого о книге Черткова относился ею в полной мере и к книге Гольденвейзера, которую она тогда только прочла и о которой, в частности, сказала: «Так все тяжело и, в конце концов, несправедливо».

С. 193...я не пользовался ее симпатиями, чего она... не скрывала от меня... — О С. А. Толстой Горький писал Е. П. Пешковой: «...Не люблю я этого человека, слишком много плохих впечатлений дал он мне, это не прощается, не забывается» (Арх. Г., IX, 106).

Архангельский Александр Иванович (1857–1906) — ветеринарный фельдшер, последователь Толстого.

С. 194. Гусев А. Ф. (1842–1904) — автор статей в «Православном

обозрении» и книг, направленных против Толстого. В частности, статьи «Исповедь графа Л. Н. Толстого и его мнимо-новая вера».

...история известного «толстовца» Буланже... — Буланже Павел Александрович (1865–1925) — последователь Толстого, автор ряда статей о нем, в 1901 г. жил у Толстого в Гаспре. Служил в управлении Московско-Курской ж. д., в 1907 г., после крупного проигрыша в карты, бежал, оставив письма, что покончит с собой. Объявился в Швейцарии.

С. 195. ...кажется, «Сказки о трех братьях». — Сказка называется: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах».

С. 196. «Еретик», священник Золотницкий... — Золотницкий П. Ф., бывший священник Нижегородской епархии, просидел в каменной яме Суздальского монастыря тридцать два года за старообрядчество. Из тюрьмы вышел в 1897-м, и в начале века Горький встречал его, уже полубезумного старика, на улицах Нижнего.

В «Дневнике юности»... — Имеется в виду «Дневник молодости Льва Николаевича Толстого», т. I (1847–1852). М., 1917.

...в одном из писем к Арсеньевой... — На Арсеньевой Валерии Владимировне (1836–1909), соседке по имению, Толстой собирался жениться и в письмах к ней излагал свое отношение к миру и жизни. Однако брак не состоялся. Сговорившись о свадьбе, Толстой внезапно уехал за границу.

С. 197. ...автор... исследования о Аполлонии Тианском... — Имеется в виду Д. И. Писарев, его магистерская диссертация была посвящена греческому философу I в. н. э. Лполлопию Тианскому.

С. 199. «Любовь и голод правят миром...» — Ф. Шиллер, «Мудрецы».

С. 201. ...муж Татьяны Толстой... — Сухотин Михаил Сергеевич (1850–1914), тульский помещик, депутат I Государственной думы. Сухотина Татьяна Львовна (1864–1950) — дочь Толстого, автор ряда мемуарных книг, в том числе: Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — публицист и фельетонист, в 60-х гг. печатался в «Современнике», «Отечественных записках», с конца 70-х — сотрудник реакционного «Нового времени».

С. 202. ...в... журнале *Ясинский*... — Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931), писатель и журналист, в начале 900-х гг. — редактор «Биржевых ведомостей».

[Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ]

Написано, очевидно, вскоре после получения известия о смерти Л. А. Сулержицкого, последовавшей 17 декабря 1916 г., так как очерк предназначался для февральской книжки «Летописи». Впервые напечатано в сборнике: *Горький М. Литературные портреты*. М., 1959. — «Письма к читателям. [Л. А. Сулержицкий]».

Растут города, и постепенно утолщается слой «чернорабочих культуры», — вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это — довольно мощный, экономически пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию, это — сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно.

Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского Художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий, человек исключительно одаренный, человек, родившийся «праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь — яркое горение силы недюжинной, его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н. Толстой, — сын киевского переплетчика; он родился в подвале, воспитывался на улице.

— Улица — это лучшая академия из всех существующих, — рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко преодолевать «огни, воды и медные трубы». — Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашию пред жизнью меня учили воробьи...

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными

живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки.

— Хорошо орлу ширять в пустоте небес, — там никого нет, кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища — лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки — вся жизнь огромна, подавляет. Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрецов, — как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил...

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напоминал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего лета, — такой подвижный, независимый, окрыленный страстью к жизни.

— Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвращение к насилию.

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно удавались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния или в училище графа Строганова — не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в «Московский листок» Пастухова; на пасхе, на святках и масленой пел в хорах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного «толстовца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи «непротивления злу», — с него писал Касаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера, — кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно демократами вышеназванного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда и там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда каневский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением крамольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим овощам и циклостилю. У него была

лодка, и он возил овощи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, которые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объявляют душевнобольным, полгода он сидит в Крутицких казармах и там, — «от скуки, от безделья», как он говорит, — обучает своих стражей грамоте. Наконец его, ссылают в Кушку, на границу Афганистана.

— Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко, — сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Сераке, военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер «влез в историю».

— Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиной. Въезжаем в маленький аул, — толпа тюркмен, все больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с криками и смехом, стрелы, бьют комьями сухой глины. В животе и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воет и рычит. Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу, но тюркмены живо ссадили меня, и, если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но — нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь, — как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком; хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неумных людей следует вешать.

— Но, на твоё счастье, здесь русский человек дорог; кстати, моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей — это являлось его естественной позицией.

Неистоичимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба икрою, был наполнен зародышами разнообразных талантов, — это дар среды, которая родила его. В совершенстве обладая способностью наблюдения, он

прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серакса, мне особенно памятные несколько веских слов этого письма, — они метко характеризуют роль Сулера в Сераксе, и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами и было все родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сделал попытку бежать из Серакса, захватив с собою — вовсе некстати — женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих.

— Но, — рассказывал Сулер, — я уговаривал его не делать ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он меня — тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря, — скучно было ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите меня!» «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны — бросить человека в азиатской пустыне одного! Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она — устала, изморилась, оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Сераке, откуда меня Ескоре снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц, работая, как дворник, огородник, водовоз и распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошюры яснополянского анархиста.

Кажется, после этого он плавал матросом на торговом судне.

В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове, в чьей-то пустой даче; там он снова занимается размножением толстовской литературы на гектографе и циклоstile, — в это время он уже лично знаком с Л. Н. Толстым.

Урядник, заинтересованный отшельником, который выдавал себя за живописца, иногда посещает его. Сулер угощает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему романсы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате на всех стульях и столах сушатся свежееотпечатанные листы

крамольной литературы.

Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается этот веселый человек, он не донес бы на него — такова была сила личного обаяния Сулера...

Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду, — эта эпопея интересно описана Сулером в его книге «С духоборами в Канаду», изданной толстовской фирмой «Посредник». Книга написана несколько хаотично, и в ней опущено множество интересных моментов, изображавших личные приключения Сулера. Читая рукопись этой книги, я очень настаивал на том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать этого.

— При чем тут я? — спорил он. — Речь идет о духоборах, а я — постороннее лицо в этом неестественном сцеплении религии с политикой...

Мы решили, что, напечатав эту книгу, Сулер начнет работать над другой, которую предположено было озаглавить «Записки непоседливого человека», и Сулер, живя у меня в Арзамасе, горячо принялся было за работу, но ею живой характер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к настойчивому, регулярному труду, как это часто замечается у людей, обильно насыщенных талантами, но несомненно, что Сулер имел способность к литературе, о чем свидетельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания».

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, в 5-м и 6-м он, конечно, принимает пламенное участие в общественной трагедии; он работает во всех партиях, смелый, вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них; он и толстовцем был очень сомнительным, — Лев Николаевич однажды сказал о нем:

— Ну, какой он толстовец? Он просто — «Три мушкетера», не один из трех, а все трое!

Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью к делу, к работе, с склонностью к донкихотским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво.

Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Московском Художественном театре, а года через два он уже ставит в Париже, в театре Режан, «Синюю птицу». Его работа в «Студии» Художественного театра известна по «Сверчку» Диккенса и другим его постановкам, ее оценили, как работу недюжинного художника.

Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство

радости, я понял, что мне не хватало встречи с человеком именно таким, каков этот, именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность.

Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою, и всегда откуда-то издалека — с Кавказа, из Вологды, из Бутырской тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и американском кепи, шумный, сверкающий, он во всяком обществе сразу становился ярко заметным и привлекал к себе общее внимание.

Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем.

— В мире все обосновано, — говорил он, — ни одна мысль не является капризом, у каждой есть корни в прошлом. Это очень печально и верно для нас, но мы живем с покойниками и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бороться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не следует, что с ним бесполезно спорить, нет, — спорить нужно!

— «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»?

— Вот именно! Каждый из нас — создание прошлого, и все, кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах настоящего и будущего.

Однажды он поспорил с Л. Н. Толстым о духоборах, доказывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо возражал ему, приводя примеры религиозных брожений в самой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мери Беккер Эдди и другие.

— А все-таки вы не уверены в том, что защищаете, — вдруг сказал Сулер улыбаясь.

Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, засмеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова.

Он любил Леопольда, как сына, и любовался им, точно женщиной.

— Ведь вот, — говорил он, наблюдая за Сулером всевидящими глазками, — у другого это вышло бы грубо или смешно, а у него — хорошо! У него все по-своему, все — правда, во всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный...

Глядя, как Сулер, Александра Львовна и другие играют в городки по въезде в парк Гаспры, Толстой сказал, улыбаясь своей прекрасной и всегда

какой-то тонко отточенной улыбкой:

— «Будьте как дети», я понимал это головой, но никогда не чувствовал — как может быть ребенком взрослый, много испытавший человек? А вот смотрю на Сулера и — чувствую: может! Сколько радости вносит он во все, сколько в нем детского! А ведь он — страдал. Как это редко — человек, который забыл о своих страданиях, не хвалится ими, не сует их в глаза ближнего...

В Арзамасе человек иных воззрений и чувствований, культурный подвижник города, отец Феодор Владимирский, впоследствии один из депутатов Второй думы, говорил о Сулере теми же словами Толстого:

— Поистине, человек этот — чисто дитя божие!

Так же любовно и ласково, как Л. Толстой, относился к Сулеру А. П. Чехов.

— Вот, батенька, талант, — говорил он, мягко хмурясь. — Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем, — он всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном положении останется честным.

Уморительно беседовали они, Сулер и Чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатления таракана, который случайно попал из нищей мужицкой избы в квартиру действительного статского советника, где и скончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять реальное с фантастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и знанием жизни. Сулер чувствовал себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его судьба, ему было незнакомо то, что испытывает негр среди белых и что нередко заставляет очень даровитых людей совершенно терять себя в среде чуждой им.

Со Львом Николаевичем Сулер становился философом и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Толстой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был литератором, с Ф. Шаляпиным он великолепно пел трогательную украинскую песню: «Ой там, за Дунаем»... И, как это ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной любви к деянию, был, в сущности своей, человек аполитический.

Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил петь и часто выступал в концертах для рабочих; крайний индивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя в ней как рыба в воде и никогда не упускал возможности тесного общения с нею.

Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением

социального идеализма, которое так характерно для многих — почти для всех — наших «самородков».

Вспоминаю такой случай: в 901 году, когда Л. Н. Толстой хворал, живя в Гаспре, имении графини С. В. Паниной, наступил жуткий день: болезнь приняла опасный оборот, близкие Л. Н. были страшно взволнованы, а тут еще распространился слух, что в Ялту из Симферополя явился прокурор для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как будто подтверждался тем, что в парк Гаспры явились некие внимательные люди, которым очень хотелось, чтобы их приняли за беззаботных туристов. Они живо интересовались всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне, в Олеиз, прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я тотчас бросился наверх, в Гаспру, а Сулер — к рабочим соседнего с Гаспррой имения, нашим добрым знакомым. В результате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем коне ускакал с ними. Все это было сделано им быстро, как в сказке...

Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов, он сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может, чаще на камни, чем на плодотворную почву, по «лучеиспускание в пустоту» является участью многих талантливых людей, и это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно добиться желанного успеха в такой разреженной социальной среде, какова среда нашей демократии, духовно не организованная и все еще не привыкшая любить своих людей и любоваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания, некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого: «Бесполезно растраченная жизнь».

Нет, бурное житие таких людей более чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл, — существование таких людей показывает, как мощна и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что могут дать, в формах более ценных и завершенных, но это потому, что они рождаются и воспитываются в среде социально не сплоченной, идеологически не организованной и не изжившей индивидуализма, который, разъедавая и разобщая ее, наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми.

Но история научит людей жить более сплоченно, и, когда демократия отвоюет себе все то, что ей органически необходимо, она создаст в своей среде людей еще более богато и разнообразно одаренных, чем все те крупные люди, которых она уже создала до сего дня.

Мрачный день мы переживаем, и единственное, что может помочь нам мужественно пережить отвратительный хаос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в творческие силы демократии.

В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспомнить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова Сулера: «Хорошо орлу ширять в пустоте небес, — там никого нет, кроме орлов...»

Нет, вы поживите «в пустыне — увы! — не безлюдной», — в страшной сумятице будней, насыщенных драмами, которые стали так обычны, что, к несчастью нашему, уже не волнуют, не возмущают нас.

Поживите действительно, в буре ежедневности, не теряя мужества, развивая способность сопротивления всему, что враждебно честной душе...

Комментарии

С. 206. ...или в училище графа Строганова — не помню. — Сулержицкий прошел весь курс в Строгановском училище живописи, ваяния и зодчества, но не получил диплома, поскольку был исключен в последний год учения (1894) за произнесенную им речь революционного содержания.

Пастухов Николай Иванович (1831–1911) — автор бульварных романов, редактор-издатель «Московского листка».

...через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. — До поступления в Строгановское училище Сулержицкий жил в Киеве, учился у Мурашко, в его художественной школе, и помогал В. М. Васнецову (1885–1888) расписывать Владимирский собор. Через Васнецова Горький и познакомился в Ялте в 1900 г. с Леопольдом Антоновичем Сулержицким, которому было тогда 28 лет (р. 1872).

...встретил известного «толстовца» Евгения Попова... — Попов Евгений Иванович (1864–1938) — педагог, писатель, переводчик, организатор толстовских земледельческих колоний.

...с него писал Касаткин свою картину «Осужденный», — Касаткин Николай Алексеевич (1859–1930). Название картины: «В коридоре окружного суда» (1897).

С. 207. Циклостиль — вид стеклогrafa, на котором печатал Сулержицкий запрещенные сочинения Толстого.

С. 208. ...жил в Крыму, у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц. — Ошибка памяти Горького. Сулержицкий жил у Е. Н. Вульф, в ее семье жил много лет и Е. И. Попов, в качестве воспитателя ее детей. Знакомство Е. Н. Вульф с Толстым произошло в Крыму.

С. 209. ...в это время он уже лично знаком с Л. Н. Толстым. — С Толстым Сулержицкий познакомился через Татьяну Львовну Толстую, с

которой он вместе учился в Строгановском училище.

...организовать переселение кавказских духоборов в Канаду... — Духоборы преследовались царским правительством.

...в его книге «С духоборами в Канаду»... — С духоборами в Канаде Сулержицкий был дважды — в январе 1898 г. и в мае 1899 г. Книга Сулержицкого вышла в «Посреднике» в 1905 г.

...очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания». — Речь идет об антимилиитаристском очерке «Путь», содержащем впечатления от поездки из Москвы до Харбина. Опубликовано в сборнике «Знания» за 1906 г.

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии... — Очевидно, он там был с мая 1905 г.

С. 210. *...в Париже, в театре Режан...* — Режан Габриэль Шарлотта (1856–1920) — французская актриса, стоявшая во главе одного из парижских театров.

Его работа в «Студии» Художественного театра... — Сулержицкий руководил, начиная с 1912 г., Первой студией Художественного театра, созданной К. С. Станиславским.

...из Бутырской тюрьмы... — По свидетельству Е. П. Пешковой, в 1900-х гг. Сулержицкий через Горького сблизился с большевиками и выполнял разные и подчас «рискованные поручения». Сулержицкий по поручению Горького ездил за шрифтом для подпольной типографии в Швейцарию. 9 мая 1902 г. был арестован в Москве по делу о транспортировке «Искры» и по обвинению в принадлежности к социал-демократическому кружку. До окончания расследования дела был выслан в Подольскую губернию, через полтора года был оправдан по суду.

С. 211. *Мормоны* — религиозная секта, созданная в США в 1830 г. Дж. Смитом. Мери Бейккер Эдди (1821–1910) — основательница одной из религиозных сект.

Владимирский Федор Иванович (1843–1937) — арзамасский

священник. Знакомство с ним Горького относится к 1902 г.

С. 213. ...«*в пустыне — увы! — не безлюдной*»... — не вполне точная цитата из стихотворения Н. Минского «Прокаженный».

[О СТАСОВЕ]

Написано в октябре 1907 г. для сборника памяти В. В. Стасова, умершего 10 октября 1906 г. Впервые напечатано в кн.; Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову. Спб. [1910].

На севере, за Волгой, в деревнях, спрятанных среди лесов, встречаются древние старики, искалеченные трудом, но всегда полные бодрости духа, непонятной и почти чудесной, если не забыть долгие годы их жизни, полной труда и нищеты, неисчерпаемого горя и незаслуженных обид.

В каждом из них живет что-то детское, сердечное, порою забавное, но всегда — какое-то особенное, умное, возбуждающее доверие к людям, грустную, но крепкую любовь к ним.

Такие старики — Гомеры и Плутархи своей деревни, они знают ее историю — бунты и пожары, порки, убийства, суровые сборы податей, — знают все песни и обряды, помнят героев деревни и преступников, ее предателей и честных мирян и умеют равномерно воздать должное всем.

В этих людях меня поражала любовь к жизни — растению, животному, человеку и звезде, — их чуткое понимание красоты и необоримая, инстинктивная вера исторически молодого племени в свое будущее.

Когда я впервые встретил В. В. Стасова, я почувствовал в нем именно эту большую, бодрую любовь к жизни и эту веру в творческую энергию людей.

Его стихией, религией и богом было искусство, он всегда казался пьяным от любви к нему, и — бывало — слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребенка ждет светлого праздника.

Он говорил об искусстве так, как будто все оно было создано его предками по крови — прадедом, дедом, отцом, как будто искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать — внуки, и казалось, что этот чудесный старик всегда и везде чувствует юным сердцем тайную работу

человеческого духа, — мир для него был мастерской, в которой люди пишут картины, книги, строят музыку, высекают из мрамора прекрасные тела, создают величественные здания, и, право, порою мне казалось, что все, что он говорит, сливается у него в один жадный крик: «Скорее! Дайте взглянуть, пока я жив...»

Он верил в неиссякаемую энергию мирового творчества, и каждый час был для него моментом конца работы над одними вещами, моментом начала создания ряда других.

Однажды, рассказывая мне о Рибейре, он вдруг замолчал, потом серьезно заметил:

— Иногда вот говоришь или думаешь о чем-нибудь, и вдруг сердце радостно вздрогнет...

Замолчал, потом, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что в такую минуту или гений родился, или кто-нибудь сделал великое дело...

Заговорили при нем о политике. Он послушал немного и убедительно посоветовал:

— Да бросьте вы политику — не думайте о гадостях! Ведь от этих ваших войн и всей подлости ничего не останется — разве вы не видите? Рубенс есть, а Наполеона нет, Бетховен есть, а Бисмарка нет. Нет их!

И было ясно, что он несокрушимо верит в правду своих слов.

Политику он не любил, морщился, вспоминая о ней, как о безобразии, которое мешает людям жить, портит им мозг, отталкивает от настоящего дела. Но одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах, — он говорил о ней с гордостью, уважением и любовью, и каждый арест, о котором он слышал, искренно огорчал его.

— Губят людей. Лучшее на земле раздражают и злят — юношество! Ах, скоты!

Все, в чем была хоть искра красоты, было духовно близко, родственно Стасову, возбуждало и радовало его. Своей большой любовью он обнимал всю массу красивого в жизни — от полевого цветка и колоса пшеницы до звезд, от тонкой чеканки на древнем мече й народной песни до строчки стиха новейших поэтов.

Порицая модернистов, он обиженно говорил:

— Почему это — стихи? О чем стихи? Прекрасное просто, оно — понятно, а этого я не понимаю, не чувствую, не могу принять...

Но однажды я услышал от него:

— Знаете, вчера читали мне этого, Х., — хорошо! Тонко! Такими стихами можно многое сказать о тайнах души... И — музыкально...

Старость консервативна, это ее главное несчастье; В. В. многое «не мог принять», по его отрицание исходило из любви, оно вызывалось ревностью. Ведь каждый из нас чего-то не понимает, все более или менее грешат торопливостью выводов, и никто не умеет любить будущее, хотя всем пора бы догадаться, что именно в нем скрыто наилучшее и величайшее.

Около В. В. всегда можно было встретить каких-то юных людей, и он постоянно, с некой таинственностью в голосе, рекомендовал их как великих поэтов, музыкантов, художников и скульпторов — в будущем. Мне кажется, что такие юноши окружали его на протяжении всей жизни; известно, что не одного из них он ввел в храм искусства...

Седой ребенок большого роста, с большим и чутким сердцем, он много видел, много знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней.

Искусство создает тоска по красоте; неутолимое желание прекрасного порою принимает характер безумия, но, — когда страсть бессильна, — она кажется людям смешной. Многие в исканиях современных художников было чуждо В. В., непонятно, казалось ему уродливым, он волновался, сердился, отрицал. Но для меня в его отрицаниях горело пламя великой любви к прекрасному, и, не мешая видеть печальную красоту уродливого, оно освещало грустную драму современного творчества — обилие желаний и ничтожество сил.

Я мало знал В. В. — таким он мне казался, — и эти строки — все, что я могу вспомнить о нем.

Мне жалко, что я знал его мало, — жизнь не часто дарит радость говорить о человеке с искренним к нему уважением.

Когда он умер — я подумал:

«Вот человек, который делал все, что мог, — и все, что мог, — сделал...»

Комментарии

С. 214. *Когда я впервые встретил В. В. Стасова...* — С Владимиром Васильевичем Стасовым (р. 1824) Горький познакомился у И. Е. Репина в Куоккале 18 августа 1904 г. У Репина в этот день составилось целое музыкальное собрание, и пока шли приготовления к импровизированному концерту, Репин, Стасов и Горький гуляли по саду. «...И тут, — рассказывал Стасов брату несколько дней спустя, — произошло наконец большущее мое знакомство с Горьким. Кажется, он вначале что-то чуждался меня [...] Но скоро все переменялось [...], и он сделался настоящим самым собою. А сам собою он — преотличный, пречудесный. Все, что я про него читал и слышал, — все глупейший вздор, выдумка и ложь. Он вышел совсем другой, и прехороший, преинтересный, преотличный малый, — только мало разговорчив (иной раз, вдруг!) [...] Мы почти обо всем одинаково думали — оба».

С. 215. *Однажды, рассказывая мне о Рибейре...* — Вскоре после первого знакомства Горький посетил Стасова в Парголово, где он в это время жил, и затем не раз виделся с ним в Петербурге. В творчестве Хозе Рибейры, автора «Св. Инессы», «Мученичества св. Себастьяна», преобладает тема мученического подвига.

...одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах... — Стасова Елена Дмитриевна (1873–1966) — племянница Стасова, член КПСС с 1898 г., с 1901 г. — агент «Искры», в 1904—06 гг. — секретарь Северного бюро ЦК, Петербургского комитета РСДРП, Русского бюро ЦК РСДРП.

С. 216. *Старость консервативна...* — Как искусствовед и художественный критик Стасов оставался верен принципам передвижников и «Могучей кучки», с недоверием относился он к новым течениям в литературе и искусстве.

САВВА МОРОЗОВ

Написано в 1919 г. или несколько позже для биографической серии библиотеки «Жизнь мира» — «Два купца. Н. А. Бугров. С. Т. Морозов». Впервые напечатано с небольшими сокращениями в журнале «Октябрь», 1946, № 6.

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, потрянув львиной головою, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко стриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил:

— Кто это?

— Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов Государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше соломенное царство не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, — вы все знаете, что это — «положение во гроб»...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте, — слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде пронизательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра, — театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

— Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей, — я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

— Сделаем! — охотно отозвался Савва. — Четыре тысячи аршин — довольно? А — сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я — с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекатывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

— Гениальнейший ребенок.

— Ребенок?

— Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он — актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людьми для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в ответ на

почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

— Хорошая! Я ее изломаю.

— Зачем же?

— Я люблю ломать, которое мне нравится, — ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

— «Мыслю, значит — существую», это неверно! Или — этого мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, — улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

— С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» — явление столь же частое, как и в других

странах. У нас потомок Рюриковичей — анархист, граф — «из принципа» — пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее яркими атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

— Да, — с грустью и досадой ответил он. — Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услышал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интروмолекулярной энергии, — все это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души», — дорого стоит нам и еще дороже будет стоять это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показали бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Вздвигивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, — коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов

Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:

— Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

— Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка...

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый человек...

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

— Вы так думаете?

— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

— Вы считаете революцию неизбежной?

— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людьми.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил:

— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги...

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, — его не учили и не

учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, — а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда — беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905 года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: «Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?»

Он не спросил.

— Легко в России богатеть, а жить — трудно! — тихо сказал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

— Я не ДонКихот и, конечно, не способен заниматься пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно лишним или случайным среди тяжелой, московской роскоши обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по

рисунку, кажется, Врубеля, — вереница женщин в широких белых одеждах, танцующая, легко взлетала вверх. В кабинете Саввы — все скромно и просто, только на книжном шкафу стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом — спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу — гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах — множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов m-me Морозова, кажется, бывшая шпульница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы, — в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт; под цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела васнецовская «Птица-Гамаюн», превосходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было «как в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищулив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему, как во сне, и это — но очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суждения о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» А. П. Чехова он спрашивал:

— Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:

— Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках,

подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.

— Пишет он брезгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

— Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев...

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

— Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука — в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебедеве, примилившем своими опытами со светом спор Максвелла и Кельвина.

— Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, каковы Менделеев и физиолог Павлов...

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам «неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, — я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали — внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на революцию миллионы», — разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому «Красному Кресту», на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе с[оциал]-д[емократов] большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, — московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошадьё, а рядом с ним, закутанный в шубу, — Бауман. Вечером я сказал Морозову:

— Рискованно было возить Баумана днем по улицам...

Он весело усмехнулся.

— А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, — засмеялся.

Прищутив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

— Говорят — евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый — этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу — Рейнбот гудит. Забавно. Две ночи напролет беседовал я с ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому...

Помолчав, он предложил:

— В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне — легко!

Он спрятал Баумана в своем имении «Горках», где теперь, летом, живет В. И. Ленин.

В одном случае, — я хорошо знаю это, — Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы, взявшись за это, он предупредил:

— Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

— Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую...

И снова пророчески добавил:

— Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из

большевиков он сказал:

— Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

— Не ошибся я, — человек отличных способностей. Такого куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи...

Вспоминая его [Морозова] предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальнорзости его ума. Помню, в 903 году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

— Мы — накануне конституции, — убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, — оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организовать контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, — все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

— Может быть, — спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

— Начал Антон Павлов читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он,

говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».

Я спросил Савву, — а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жуткий признак духовного оскудения Европы. Это — крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее — плохие слесари. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни... Славянофильство, народничество... чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памятливы два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен... Старик

недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике. Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, — момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо пахучей средой.

— Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

— Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:

— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! — говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление

темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сплю плохо, — неохотно ответил Савва, сморщив лицо. — Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там — тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность — невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, — вот! — затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее... Бессмысленно, преступно...

Сразу оборвав свои крики, — точно оступился и упал, — он остановился среди комнаты, спрашивая:

— Неужели и это пройдет безнаказанно для них? И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

— Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть — это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически — нищие, наука у нас под сомнением в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия, — невозможно жить. Немецкая фабрика — научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации — Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею, — все это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку...

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жизни.

— Мы вообще не умеем жить. Вот — я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик-ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да уйди куда-нибудь. Не в твоём характере купечествовать. Не удал ты хозяин». Это — верно! Но куда же я уйду? Хотя — есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох...

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

— Правда это?

— Ну, да, — ответил он. — Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, — за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся — его я велел рассчитать — даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора, с моими пометками...

Закрыв глаза, он вздохнул:

— Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это — знают, и этим тоже пытаются застрашивать меня. Семья у нас — не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это — хуже смерти...

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

— Брось. Я грамотен. Знаю.

Заговорил о Леониде Андрееве:

— Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же: третье поколение крупных промышленников дает огромный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: перечислил мне длинный ряд русских и американских семей, отмечая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты дегенерации.

За окном потемнело и все хлестало, гудел дождь, взвизгивал ветер.

— Поедем куда-нибудь? — предложил Савва.

Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извозчика, сказал:

— Нет, пойду домой, лягу спать... Прощай...

И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 905 года Морозов ездил к Витте с делегацией промышленников, пытался убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом говорил мне:

— Этот пройдоха, видимо, затекает какую-то подлую игру. Ведет он себя как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабочие пойдут к царю, Савва предупредил:

— Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, полиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встревоженный и злой.

— Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется, — 144-й полк, вообще — решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын отечества» и застал там человек полтора, обсуждавших вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать депутацию к Святополк-Мирскому, дабы подтвердить «мирный» характер намерений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется — так, я не точно помню задание, возложенное на депутацию, хотя, неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным «гапоновцем», — кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил меня с ним за несколько дней пред этим. Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными лозунгами, доказывал, что революционные организации должны взять движение в свои руки.

— Бойня все равно будет! — говорил он, улыбаясь. — Ведь, ладком да мирком — ничего не достигнем, пусть рабочие убедятся в этом...

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех извозчиках, — я — в паре с Кузиным.

— Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять — какой толк? — мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человек тощий, с маленькой, вертлявой головкой; красненький, мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, и весь он — в явном разладе с назойливой революционностью своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском — необычно пустынно, хотя было не позднее десяти часов вечера; ворота домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

— Полицейских-то на постах — нет, — заметил Кузин, вздохнув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому; он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф. Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство — не может быть речи.

Кто-то сказал:

— Мы — не частные лица, мы люди, уполномоченные собранием интеллигенции...

Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.

Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, что Рыдзевский — внук Александра II?

— Не все ли вам равно, чей он внук?

Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:

— Пожалуй — правда. Принял он нас по-царски. Гордо...

Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец, он явился и любезно пригласил нас в кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой

фотографический портрет Александра III, Витте методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно маленькой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Курносое, маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отталкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым пальцем, искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь скользящей улыбкой, — это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно сказал: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа...» — я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь, — они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на время, пока он переговорит с князем Свято-полком. Мы ушли, я слышал, что он говорит по телефону, но у меня осталось странное впечатление, что он звонил своему швейцару и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка — или швейцара, — я не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интересовал Кузин, — я увидел, что он очарованно смотрит на коллекцию орденов в витрине; согнувшись над нею, почти касаясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на ордена, из рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я окликнул его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масляной, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

— Сколько... накопил, черт...

Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пиджака. Все это было неописуемо противно. Назад, в редакцию, я уже не мог ехать с Кузиным...

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их унижительности; удрученная публика начала расходиться. Мне пришло в голову, что

необходимо составить отчет о нашем путешествии по министрам, я предложил это, публика согласилась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:

— Где это ты увяз?

Я наскоро рассказал ему.

— Напрасно ты путаешься в такие дела, — хмуро заметил он.

— Не мог же я отказаться, если выбрали!

— Н-ну... А я думал, тебя арестовали.

Обняв меня за талию, он сказал:

— У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим свернут головы. Как ты думаешь?

Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел к себе в гостиницу, предупредив меня:

— Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я зайду за тобой в восемь часов...

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик «Долой самодержавие» раздался 9 января среди толпы выборжцев на Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вызвал сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно...

Длинный, лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня:

— Не поддавайтесь на провокацию-у-у!

Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой, голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа... Бенуа поднимал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узда, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий,

— точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека — кричал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушные солдаты; серой полосой своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицера собрались группой на тротуаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт на кучки. Один из них, ширококорый, могучий, как цирковой борец, грубо крикнул нам:

— Куда лезете?

Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:

— Там вам...

Точно большая собака дважды тявкнула.

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преградившие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланяясь убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай...

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-

то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо нее:

— Нет ли у вас чистого платка?

Чернобородый рабочий, по-видимому, металлист, темными руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади меня крикнул:

— Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе...

Толпа была настроена неопределенно, в общем — угрюмо, но порою среди ее раздавались оживленные возгласы и даже смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно толкая попутчиков; я мало слышал восклицаний злобы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей, ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

— Хорошо угостили?

На голове у него торчала порыжевшая, трепаная шапка, а в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.

Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке; я спросил его:

— Что это ты вооружился?

— Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Черт их знает, кто они.

Это было странно: я видел Гапона только издали, на собраниях рабочих, и не был знаком с ним. Квартира моя была набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвинительного акта, заключив его требованием предать суду Рыдзевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за массовое и

предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней царствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо;

— Гапон прибежал.

В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

— Рутенберг — здесь?

И заметался по комнате, как обожженный, ноги его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвенно-синее, и широко открытые глаза — остеклели, подобно глазам покойника. Бегая, он бормотал:

— Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требовательно заявил:

— Меня нужно сейчас же спрятать, — куда вы меня спрячете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив попа на стул, безгласно морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим парикмахером, а ножницы — тупыми. Гапон дергал голову, вскрикивая:

— Осторожнее, — что вы?

— Потерпите, — нелюбезно ворчал Савва.

Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим, — это воззвание начиналось словами:

«Братья, спаянные кровью».

Поп послал Н. П. Ашешова к рабочим с какой-то запиской, пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они заявили, что Гапон — убит и что сейчас по Невскому полиция провезла его труп, — «труп» в это время мылся в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономическое общество, где собралась интеллигенция, — не помню мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

— Да, да, пускай посмотрят...

Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел на Гапона с явной неприязнью, Гапон сначала отказывался ехать, но его убедили; тогда он попросил загримировать ему лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного театра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина. В этом виде я и отвез его в Вольно-Экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабочих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отказался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым, который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянными военными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Город давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обострилось.

— Царь — болван, — грубо и брюзгливо говорил он. — Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом и пели «Боже, царя храни...».

— Не те люди...

Он упрямо тряхнул головой:

— Те же самые, русские люди. Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей два, три обещания, — исполнить их необязательно, — и эти люди снова пропели бы ему «Боже, царя храни». И даже могли бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую колонну... Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал:

— Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.

— Жалко людей, — сказал я.

— Ах, вот что? — Он снова вскочил и забегал по комнате. — Конечно, конечно! Однако — это другое дело. Тогда не надо говорить им: вставляйте! Тогда убеждай их — пусть они терпеливо лежат и гниют! Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко сказал:

— Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в наших условиях гуманность — ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:

— А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиней пасти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже такой, — он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово, — может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и монархии —дохлое дело! Дохлое... Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря:

— Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидимся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться.

Мы крепко обнялись. Я сказал:

— Ночевал бы здесь. Смотри, — подстрелят...

— Потеря будет невелика, — тихо сказал он, уходя.

На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там тотчас же по приезде был арестован. Савва немедленно начал хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Красин. Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тревоги.

— Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу, чтоб вас видели здесь...

— Кто?

— Вообще... Жена и вообще...

На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление человека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого

человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: Савва не помер, вместо его похоронили другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции...

Комментарии

С. 217. *Встал... Дмитрий Иванович Менделеев...* — Д. И. Менделеев был членом Совета торговли и мануфактур, принимал самое деятельное участие в разработке таможенного тарифа, результатом чего, в частности, явился изданный им в 1892 г. знаменитый «Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее таможенным тарифом 1891 г.».

С. 218. *Меня познакомили с ним...* — С Саввой Тимофеевичем Морозовым (1862–1905) Горький познакомился осенью 1900 г., когда приезжал в Москву.

...он восхищался Станиславским... — Морозов был одним из директоров и пайщиков Московского Художественного театра, руководили им В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский.

С. 220. *...потомок Рюриковичей — анархист...* — Князь П. А. Кропоткин.

...пермский пароходовладелец Н. Мешков... — Мешков Николай Васильевич (1851–1933) субсидировал журналы «Минувшие годы», «Былое», член ряда акционерных компаний, основатель Пермского университета.

...об опытах Ле-Бона, Резерфорда... — Лебон Гюстав (1841–1931) — французский естествоиспытатель и социолог, Резерфорд Эрнст (1871–1937) — английский физик, оба занимались исследованиями радиоактивности.

С. 221. *Видели вы человека, похожего на Маякина?* — Яков Маякин, владелец канатного завода, один из героев повести Горького «Фома Гордеев». На вопрос Толстого Горький ответил в статье «Беседы о ремесле», раскрыв, из какого разнородного жизненного материала построена им фигура Маякина.

С. 224. *...о красных цветах, их развел... кажется* — Бальмонт. — У Бальмонта в цикле «Горящие здания» (1899) есть стихотворение «Красный

цвет».

...вышивки Поленовой-Якунчиковой... — Поленова Елена Дмитриевна (1850–1898), сестра художника В. Д. Поленова и сама художница, была деятельным пропагандистом кустарных промыслов. В Абрамцеве, имении Мамонтовых, была устроена мастерская, которая изготавливала кустарные изделия по образцам, привезенным из Астраханской и Вологодской губерний. Народные старинные образцы были положены и в основание вышивок, которые делались совместно с М. Ф. Якунчиковой (1864–1962) по рисункам Поленовой.

...настроение Бутлерова или Вагнера... — Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886) — один из основоположников науки о строении органических соединений. Вагнер Н. П. (1829–1907) — профессор зоологии Казанского и Петербургского университетов. Оба интересовались спиритизмом в научных целях.

...а не Сеченова...Мечникова... — Речь идет о «Рефлексах головного мозга» И. М. Сеченова и борьбе И. И. Мечникова за продление сроков жизни.

С. 225. *...о молодом физике П. Лебедеве... спор Максвелла и Кельвина* — Лебедев Петр Николаевич (1866–1912) «взвесил» свет, чем решил спор двух английских физиков — Джеймса Максвелла (1831–1879) и Уильяма Томсона Кельвина (1824–1907).

...политическому «Красному Кресту»... — Организация помощи политическим ссыльным и заключенным в России, возникшая из самостоятельно действующих нелегальных групп. Как организация она впервые заявила о себе в 1881 г. в качестве «Общества Красного Креста» «Народной воли».

Бауман Николай Эрнестович (1873–1905) — «искровец», один из руководителей Московского комитета РСДРП в период 1903—05 гг.

С. 226. *...у Тестова...* — В ресторане И. И. Тестова.

... Рейнбот гудит... — Рейнбот (Резвой) Анатолий Анатольевич (1868–1918) — генерал-майор, позже, в 1906—07 гг., — московский

градоначальник.

С. 227. *Человек, о котором он говорил...* — Л. Б. Красин.

...А. П. Чехов жил у него в пермском имении... — В июне 1902 г. Чехов гостил в имении Морозова в Усолье.

С. 228. *...в философских драмах Ренана...* — В философских драмах Ренана противопоставляется «высшая раса» (господа) — «низшей» (народные массы).

...нечто вроде экстракта Броун-Секара — Броун-Секар (1818–1894) — французский физиолог. Речь идет о веществах, выделяемых семенниками в кровь, — Броун-Секар считал, что эти вещества сильно повышают жизненный тонус организма.

Гроб писателя [...] о крупном и тонком художнике. — Этот отрывок повторяет почти дословно картину похорон Чехова, данную Горьким в очерке «А. П. Чехов». Отказавшись к середине февраля 1923 г. от намерения печатать «Савву Морозова», Горький перенес этот отрывок туда.

С. 230. *...гостиницы «Княжий двор» — «Боярский двор».*

...затеяли войну... — Имеется в виду русско-японская война, начавшаяся в ночь с 8 на 9 февраля 1904 г.

С. 231. *...моего отца...* — Морозов Тимофей Саввич, отец С. Т. Морозова, в 1885 г. передал сыну фабрику «Никольская мануфактура» в селе Никольское Владимирской губернии.

С. 232. *...будет распоряжаться великий князь Владимир...* — Романов В. А., сын Александра II, дядя Николая II был главнокомандующим войсками гвардии и Петербургским военным округом.

...в...редакцию газеты «Сын Отечества». — Очевидно, имеется в виду газета «Наши дни».

...депутацию к Святополк-Мирскому... — П. Д. Святополк-Мирский, генерал-адъютант, в 1904 г. стал министром внутренних дел.

С. 233. *Семевский* Василий Иванович (1848–1916) — историк, видный представитель либерального народничества. *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867–1933) — публицист, народник, с 1904 г. — член редакции «Русского богатства». Позже — сотрудник либерально-монархического журнала «Освобождение», с 1906 г. — один из руководителей мелкобуржуазной партии «народных социалистов». *Мякотин* Венедикт Александрович (1867–1937) — историк и публицист, сотрудник «Русского богатства». *Гессен* Иосиф Владимирович (1866–1943) — публицист, один из лидеров партии кадетов. *Кедрин* Евгений Иванович (1851–1921) — адвокат, член ЦК партии кадетов, депутат I Государственной думы.

С. 236. *Бенуа* Леонтий Леонтьевич (ум. не позднее 1912 г.) — член РСДРП. *Войткевич* Антон Феликсович (1876–1951), *Иваницкая* Ольга ^Петровна (1879–1946) — члены Нижегородской, а затем Петербургской большевистской организации. Принимали деятельное участие в революции 1905—07 гг.

С. 238. ...*Что-то вроде обвинительного акта...* — Воззвание («Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств»).

С. 239. *Фуллон* Иван Александрович — петербургский градоначальник в 1904—05 гг.

...*Петр Рутенберг...принужденный через два года удавить его...* — Гапон был повешен 28 марта 1906 г. по постановлению ЦК партии эсеров. Рутенберг был организатором этого убийства.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920) — историк литературы и критик, в то время редактор журнала «Мир божий».

Тихомиров Иосафат Александрович (1872–1908) — артист и режиссер МХТ в 1898–1904 гг.

С. 240. ...*полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом.* — Речь идет о манифестации в Петербурге в связи с началом русско-японской войны.

С. 241. ...и там тотчас же по приезде был арестован... — Горький уехал из Петербурга в Ригу 10 января 1905 г., в ночь с 10 на 11 января при обыске у Е. И. Кедрина было обнаружено воззвание Горького. 11 января в Риге был произведен обыск у Горького, сам он арестован и препровожден в Петербург для «формального дознания». На следующий день прямо с Балтийского вокзала его доставили в Петропавловскую крепость и заключили в отдельную камеру Трубецкого бастиона как государственного преступника.

За границей он убил себя... — С. Т. Морозов покончил с собой 13 мая 1905 г.

ЛЕОНИД КРАСИН

Написано в начале декабря 1926 г. как отклик на смерть Л. Б. Красина, последовавшую 24 ноября 1926 г. Впервые напечатано в газете «Известия», 1926, декабрь, под заголовком «Л. Б. Красин. Из воспоминаний».

В первый раз я услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского; это было в Самаре в 95—6 годах. Убеждая меня в чем-то, в чем я не мог убедиться, Гарин пригрозил:

— Вас надо познакомить с Леонидом Красиным, он бы с вас в один месяц все анархические шишки сточил, он бы вас отшлифовал!

Угроза эта вызвала в памяти моей образ Павла Скворцова, нижегородца, одного из первых марксистов, фанатика книги, не симпатичного мне. В течение десяти лет я встретил на путях моих не мало апостолов, и мне уже казалось, что все они требуют одного: чтоб личный опыт мой я, как можно скорее и с явным ущербом для опыта, уложил в предлагаемые ими формы.

Зимой 1903 года я жил в курорте Сестрорецк, один в огромной комнате; она во время сезона служила, кажется, «пневматическим ингалятором», ее освещали два окна, выходившие в парк, окна были высокие и шире дверей, но мелкие переплеты их рам напоминали о тюремных решетках. Труба парового отопления каждое утро шипящим голосом спрашивала:

— Не хотите ли рыбы?

Кроме меня, в курорте жила А. Г. Достоевская; банщик Прохоров рассказал мне, что это вдова кавказского генерала Грибоедова, казненного за измену царю Николаю I, почему она и живет под чужой фамилией.

Я был предупрежден, что ко мне придет «Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК, но, когда увидел в окно, что по дорожке парка идет элегантно одетый человек в котелке, в рыжих перчатках, в щегольских ботинках без галош, я не мог подумать, что это и есть он, «Никитич».

— Леонид Красин, — назвал он себя, пожимая мою руку очень

сильной и жесткой рукою рабочего человека. Рука возбуждала доверие, но костюм и необычное, характерное лицо все-таки смущали, — время было «зубатовское», хотя и на ущербе. Вспоминались слова Гарина, Павел Скворцов, десятки знакомых мне активных работников партий, всегда несколько растрепанных, усталых, раздраженных. Этот не казался одетым для конспирации «барином», костюм сидел на нем так ловко, как будто Красин родился в таком костюме. От всех партийцев, кого я знал, он резко отличался — разумеется, не только внешним лоском и спокойной точностью речи, но и еще чем-то, чего я не умею определить. Он представил вполне убедительные доказательства своей «подлинности», да, это — «Никитич», он же Леонид Красин. О «Никитиче» я уже знал, что это один из энергичнейших практиков партии и талантливых организаторов ее.

Он сел к столу и тотчас же заговорил, что, по мысли Ленина, необходимо создать кадр профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих.

— Так сказать — мастеров, инженеров, наконец — художников этого дела, — пояснил он, улыбаясь очень хорошей улыбкой, которая удивительно изменила его сухощавое лицо, сделав мягче, но не умаляя его энергии.

Затем он сообщил о намерении партии создать общерусский политический орган социал-демократии.

— На все это нужны деньги. Так вот, мы решили просить вас: не можете ли вы использовать ваши, кажется, приятельские отношения с Саввой Морозовым? Конечно, — наивно просить у капиталиста денег на борьбу против него, но — «чем черт не шутит, когда бог спит»! Что такое этот Савва?

Внимательно выслушав характеристику Морозова, постукивая пальцами по столу, он спросил:

— Так, значит, попробуете? И даже имеете надежду на успех? Чудесно.

Эту часть беседы он кончил быстро, и все вышло у него так округленно, законченно, что уже нечего было добавить, не о чем спросить. Затем, с увлечением юноши, он начал рассказывать о борьбе Ленина с экономистами, ревизионистами и закончил памятным пророчеством:

— Вероятно — расколемся. Ленина это не пугает. Он говорит, что разногласия организаторов и вождей — верный признак роста революционного настроения масс. Как будто — он прав, но как будто — несколько торопится. Но пока он еще не ошибался, забегая вперед.

Прохоров принес самовар, за чаем Красин начал говорить о

литературе, удивляя меня широкой начитанностью, говорил о театре, восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской, Московским Художественным. Когда я сказал, что пьесы Чехова следовало бы ставить не как лирические драмы, а как лирические комедии, он расхохотался.

— Но ведь это был бы почти скандал! — вскричал он, но затем полусогласился:

— Может быть, вы правы, пожалуй, как комедии они более отвечали бы слагающейся социальной обстановке и настроению молодежи. Панихиды — не ко времени, хотя и красивы.

Рассказал, посмеиваясь, о своем посещении Льва Толстого...

Рассказывал он живо, прекрасно, с веселым юмором, в память мою крепко врезалось сердитое лицо Толстого и колющий взгляд его глаз.

Через три часа Леонид Борисович ушел к поезду, в Петербург, сказав мне на прощанье:

— Вы тут — точно муха на лысине, сыщикам очень удобно следить за теми, кто у вас бывает. Предупреждаю: за мной хвостов нет. Я — человек без тени, как Питер Шлемиль.

Свидание с Морозовым состоялось через три дня. Аккуратно и внимательно читая «Искру» и вообще партийную литературу, Савва был знаком с позицией Ленина, одобрял ее, и, когда я предупредил его, с кем он будет говорить, он сказал ничего не обещающее слово:

— Поговорим...

Деловая беседа фабриканта с профессиональным революционером, разжигавшим классовую вражду, была так же интересна, как и коротка. Вначале Леонид заговорил пространно и в «популярной» форме, но Морозов, взглянув на него острыми глазами, тихо произнес:

— Это я читал, знаю-с. С этим я согласен. Ленин — человек зоркий-с.

И красноречиво посмотрел на свои скверненькие, капризные часы из никеля, они у него всегда отставали или забегали вперед на двенадцать минут. Затем произошло приблизительно следующее:

— В какой же сумме нуждаетесь? — спросил Савва.

— Давайте больше.

Савва быстро заговорил, — о деньгах он всегда говорил быстро, не скрывая желания скорее кончить разговор:

— Личный мой доход ежегодно в среднем шестьдесят тысяч, бывает, конечно, и больше, до ста. Но треть обыкновенно идет на разные мелочи, стипендии и прочее такое. Двадцать тысяч в год — довольно-с?

— Двадцать четыре — лучше! — сказал Красин.

— По две в месяц? Хорошо-с.

Леонид усмехнулся, взглянув на меня, и спросил: нельзя ли получить сразу за несколько месяцев?

— Именно?

— За пять, примерно?

— Подумаем.

И, широко улыбаясь, пошутил:

— Вы с Горького больше берите, а то он извозчика нанимает за двугривенный, а на чай извозчику полтинник дает...

Беседа приняла веселый характер, особенно оживлен и остроумен был Леонид. Было видно, что он очень нравится Морозову, Савва посмеивался, потирая руки. И неожиданно спросил:

— Вы — какой специальности? Не юрист ведь?

— Электротехник.

— Так-с.

Красин рассказал о своей постройке электростанции в Баку.

— Видел. Значит, это — ваша? А не могли бы вы у меня в Орехове-Зуеве установку освещения посмотреть?

В нескольких словах они договорились съездить в Орехово, а, кажется, с весны 1904 года Красин уже работал там. Затем они отправились к поезду, оставив меня в некотором разочаровании. Прощаясь, Красин успел шепнуть мне:

— С головой мужик!

Я воображал, что их деловая беседа будет похожа на игру шахматистов, что они немножко похитрят друг с другом, поспорят, порисуются остротой ума. Но все вышло как-то слишком просто, быстро и не дало мне, литератору, ничего интересного. Сидели друг против друга двое резко различных людей, один среднего роста, плотный, с лицом благообразного татарина, с маленькими, невеселыми и умными глазами, химик по специальности, фабрикант, влюбленный в поэзию Пушкина, читающий на память множество его стихов и почти всего «Евгения Онегина». Другой — тонкий, сухощавый, лицо, по первому взгляду, как будто «суздальское», с хитрецей, но, всмотревшись, убеждаешься, что этот резко очерченный рот, хрящеватый нос, выпуклый лоб, разрезанный глубокой складкой, — все это знаменует человека, по-русски обаятельного, но не по-русски энергичного.

Савва, из озорства, с незнакомыми людьми притворялся простаком, нарочно употребляя «слово-ер-с», но с Красиным он скоро оставил эту манеру. А Леонид говорил четко, ясно, затрачивая на каждую фразу именно

столько слов, сколько она требует для полной точности, но все-таки речь его была красочна, исполнена неожиданных оборотов, умело взятых поговорок. Я заметил, что Савва, любивший русский язык, слушает речь Красина с наслаждением.

Сближение с Красиным весьма заметно повлияло на него, подняв его настроение, обычно невеселое, скептическое, а часто и угрюмое. Месяца через три он говорил мне о Леониде:

— Хорош. Прежде всего — идеальный работник. Сам любит работу и других умеет заставить. И — умен. Во все стороны умен. Глазок хозяйский есть: сразу видит цену дела.

Другой раз он сказал:

— Если найдется человек тридцать таких, как этот, они создадут партию покрепче немецкой.

— Одни? Без рабочих?

— Зачем? Рабочие с ними пойдут...

Он говорил:

— Хотя я и не народник, но очень верую в силу вождей.

И каламбурил:

— Без вождей гоголевская тройка разнесет экипаж вместе со всеми ненужными и нужными седоками.

Красин в свою очередь говорил о Савве тоже хвалебно.

— Европеец, — говорил он. — Рожица монгольская, а — европеец!

Усмехаясь, он прибавил:

— Европеец по-русски, так сказать. Я готов думать, что это — новый тип, и тип с хорошим будущим.

В 1905 году, когда, при помощи Саввы, в Петербурге организовывалась «Новая жизнь», а в Москве «Борьба», Красин восхищался:

— Интереснейший человек Савва! Таких вот хорошо иметь не только друзьями, но и врагами. Такой враг — хороший учитель.

Но, расхваливая Морозова, Леонид, в сущности, себя хвалил, разумеется, не сознавая этого. Его влияние на Савву для меня несомненно, я видел, как Савва, подчиняясь обаянию личности Л. Б., растет, становится все бодрее, живей и все более беззаботно рискует своим положением. Это особенно ярко выразилось, когда Морозов, спрятав у себя на Спиридоновке Баумана, которого шпионы преследовали по пятам, возил его, наряженного в дорогую шубу, в Петровский парк, на прогулку. Обаяние Красина вообще было неотразимо, его личная значительность сразу постигалась самыми разнообразными людьми.

После слуха о его аресте на квартире Леонида Андреева, вместе с

другими членами ЦК, В. Ф. Комиссаржевская говорила мне:

— Моя первая встреча с ним была в Баку. Он пришел просить, чтоб я устроила спектакль в пользу чего-то или кого-то. Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, веселый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязен в этом отношении. Но и развязен как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нем нет, громких слов не говорит, по заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности. Никак не могла подумать, что это революционер, но совершенно ясно почувствовала, что пришел большой человек, большой и по-новому новый. Потом, когда мне сказали, что он был в ссылке, сидел в тюрьмах, я и в это не сразу поверила.

— Чудовищно энергичен, — говорил о Леониде в 20 году известный электротехник-профессор. — И — удивительно организованы внешние проявления его энергии и в слове и в деле.

И так всегда, все видели, что Леонид Красин, «Никитич», «Винтер», «Зимин» — исключительный человек.

— Не знаю товарища, который был бы так надежно наш, как «Никитич», — сказал о нем мой земляк «выборжец» А. К. Скороходов во дни наступления Юденича на Петербург, как раз в тот день, когда отряды Юденича, наступая на Тосно, грозили отрезать Петербург от Москвы.

В тот день многие в Петербурге растерялись, подчиняясь панике, а Леонид, стоя у окна в моей квартире на Кронверкском и слушая, как бухает пушка броненосца, ворчал:

— В Гавани, вероятно, крыши сносит с домов и все стекла в окнах к черту летят. Разор!

Кто-то спросил его:

— Отразим?

— Конечно, прогоним. Дураки — убегут, а убытки останутся.

И удивленно передернул плечами:

— Чего лезут, черт их побери? Ведь и слепому ясно, что дело их —дохлое.

Затем пожаловался:

— Ну, и накурено у вас! Дышать нечем!

Он возбуждал к себе в людях настолько глубокую симпатию, что иногда она принимала характер романтический. Я знаю, что по его слову люди благодарно и весело шли на самые рискованные предприятия.

Авель С[офронович] Енукидзе, вероятно, мог бы рассказать многое из области проявлений личной приязни товарищей к Леониду, дружеской

заботы о нем. Если я не ошибаюсь, т. Енукидзе сам был участником совершенно безумной попытки освободить Красина из монументальной Выборгской тюрьмы. Попытка эта была самочинной, ее вызвала личная симпатия храбрецов к Леониду, и она едва не осложнила его положение.

Знаменитый «Камо», «Черт»-Богомолов, Грожан, убитый в Москве черной сотней, один из тех рабочих, с которыми Леонид устраивал подпольную типографию в 1904 году в Москве, кажется, на Лесной улице, — все, кого я знал и кто знал Красина, говорили о нем, как о человеке почти легендарном.

И, может быть, лучше всех сказал о нем мой друг, доктор Алексин, человек, относившийся к революции равнодушно, к революционерам — скептически, находя, что от «них пахнет непрожеванными книгами», — сам он никаких книг не «жевал». Однажды я сидел с доктором у Леонида Андреева, в Грузинах, а Красин приехал туда за мною по какому-то делу. Андреев был плохо настроен и как-то неловко, неуместно заговорил, что он не может верить в благотельное воздействие революции на людей. Красин тоже был не в духе, озабочен; послушав пессимистические изъяснения хозяина, он спросил:

— Если вы утверждаете, что мыться не стоит, — зачем же мыло варить? А ведь вы написали «Василия Фивейского», «Красный смех» и еще немало вещей, революционное значение которых — вне спора.

И, как это нередко бывало с Леонидом Борисовичем, он вдруг вспыхнул, засверкал красивыми глазами и произнес одну из тех речей, которые, если и не могут убедить противника, то совершенно обезоруживают его. Все знают, как великолепно мог говорить Красин, когда бывал «в ударе». И во время его речи доктор Алексин шепотом сказал мне:

— Вот от этого пахнет историей.

В Куоккале и на Капри, в Берлине, где Красин, работая у Сименса-Шуккерта или у Сименса-Гальске за триста марок в месяц, едва перебивался с семьей, в моей квартире, в доме, где теперь ВЦИК, в Петербурге, работая по установке освещения на военных судах, везде, где «Никитич» встречался со мной, он вызывал у меня впечатление человека несокрушимой, неисчерпаемой энергии. Известно, что он не сразу пошел работать с Советской властью, у него, как у многих в 17–18 годах, были колебания.

— Не сладят, — говорил он мне. — Но, разумеется, эта революция даст еще больше бойцов для будущей, несравнимо больше, чем дали пятый, шестой год. Третья революция будет окончательной и разразится скоро. А сейчас будет, кажется, только анархия, мужицкий бунт.

Но он скоро убедился, что «сладят», и тотчас же встал на работу. И тотчас же предложил мне организовать «Комиссию по улучшению быта ученых».

— Если буржуазия умела — хотя и не очень умела — пользоваться силами квалифицированной интеллигенции, тем более должны уметь делать это мы, — говорил он. — Ильич совершенно согласен со мною, необходимо дать ученым все, что только мы можем дать в этих дьявольски трудных условиях.

Еще раньше этого, весной 17 года, он способствовал возникновению «Ассоциации по развитию и распространению положительных наук», в члены которой, вместе с такими учеными, как академики Марков, Федоров, Стеклов, как Лев Чугаев, Заболотный, Филиппченко, Петровский, Костычев и другие, вошли также и капиталисты — Нобель, Улеман и еще кто-то. Целью «Ассоциации» было организовать в России ряд научно-исследовательских институтов.

По инициативе Красина же учреждена в Петербурге «Экспертная комиссия», на обязанности которой возложен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую материальную ценность, в петербургских складах и на бесхозных квартирах, подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства.

На мой взгляд, для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жадностью к наживе, дело все-таки — хомут, а они — волю и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство.

Комментарии

С. 243...я услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского... в 95—6 годах. — Леонид Борисович Красин (р. 1870) познакомился с Гариным, когда работал на Кругобайкальской ж. д. Бывший студент Петербургского Технологического института Красин был выслан в Иркутск за принадлежность к социал-демократической группе М. И. Бруснева — в мае 1895 г.

...образ Павла Скворцова, нижегородца, одного из первых марксистов... — Красин хорошо знал Скворцова по Нижнему, где находился в ссылке с начала лета 1891 г. по 6 мая 1892 г., когда снова был арестован. Горького как раз в это время в городе не было. Он ушел из Нижнего 29 апреля 1891 г. и вернулся 6 октября 1892 г.

Зимой 1903 года я жил в курорте Сестрорецк... — В Сестрорецке Горький жил с начала февраля до середины апреля 1904 г., наезжая время от времени в Петербург.

Достоевская Анна Григорьевна (1846–1918) — вдова Ф. М. Достоевского.

Я был предупрежден... — Красин установил связь с Горьким через посредство Н. Флерова.

...«Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК... — После II съезда РСДРП Л. Б. Красин (Никитич — одна из партийных его кличек) примкнул к большевикам, был кооптирован в члены ЦК.

С. 243–244. ...время было «зубатовское»... — С. В. Зубатов, начальник Московского охранного отделения, в 1901—03 гг. создал легальные рабочие организации — с целью перевести революционную борьбу пролетариата в русло чисто экономической борьбы. При Зубатове широкий размах приобрели всякого рода провокации.

С. 244. ...один из энергичнейших практиков партии и талантливых организаторов ее. — В 1903—07 гг. Красин в ЦК был главным техником и

финансистом партии.

...памятным пророчеством... Вероятно — расколется. — Раскол партии на большевиков и меньшевиков произошел на II съезде партии, который проходил сначала в Брюсселе, затем в Лондоне с 17 (30) июля по 10 (23) августа 1903 г.

С. 244–245. *...восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской...* — Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — актриса Александринского театра. Осенью 1902 г., покинув Александринку, она начала гастрольные поездки по провинции, собирая деньги на свой собственный театр. Красин познакомился с Комиссаржевской в Баку.

С. 245. *...о своем посещении Льва Толстого.* — В 1893 г. Красин служил в Туле в пехотном полку — отбывал воинскую повинность. Приезжал к Л. В. Миловидовой, своей будущей жене, в деревню, расположенную возле Ясной Поляны, — там образовался своего рода студенческий лагерь. И однажды, когда студенты собрались, как обычно, у костра недалеко от яснополянских дубов, к ним вышел из сумерек Лев Толстой. Через несколько дней ситуация повторилась. Толстой пригласил солдата прогуляться по парку. Зашел острый разговор о Марксе и марксизме. Толстой наговорил Красину много обидных слов. На этом беседа прервалась. Вечером того же дня Толстой снова пришел к студентам и просил извинения за резкость.

...человек без тени, как Питер Шлемиль. — Герой повести немецкого писателя А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля».

Свидание с Морозовым состоялось через три дня. — Горький был в Петербурге в конце февраля — начале марта и сообщил Е. П. Пешковой, что видел Савву Морозова.

С. 216...*он очень нравится Морозову...* — Эта встреча Красина с Морозовым не была первой. Ей предшествовала, за несколько дней до того, встреча в Москве, на Малой Бронной, в студенческой квартире, где сошлись представители самых разных партий и сочувствующие.

...о своей постройке электростанции в Баку. — Речь идет об электростанции на Баиловском мысу, близ Баку, где Красин оказался к лету

1900 г., по окончании Харьковского технологического института.

...кажется, с весны 1904 года Красин уже работал там. — Красин работал в Орехове-Зуеве у Морозова строителем и заведующим центральной электрической станцией — с начала лета 1904 г.

С. 247. *В 1905 году... при помощи Саввы в Петербурге организовывалась «Новая жизнь», а в Москве — «Борьба»...* — Эти большевистские газеты издавались в основном на деньги, переданные Саввой Морозовым большевикам — через Красина.

С. 248. *После слуха об его аресте на квартире Леонида Андреева...* — Красин арестован не был, так как, подъезжая к квартире Л. Н. Андреева, где должно было проходить совещание ЦК РСДРП, он заметил какое-то подозрительное движение вокруг и в окне квартиры и проехал мимо. Шел обыск.

...в пользу чего-то или кого-то... — Сбор с концерта Комиссаржевской пошел на подпольную типографию. Была куплена за границей быстроходная печатная машина, и вместо маленькой типографии заработала большая. «Большая Нина» (так она называлась в целях конспирации) печатала «Искру» с матриц.

...отряды Юденича, наступая на Тосно... — Отряды генерала Юденича наступали на Тосно в октябре 1919 г., грозя отрезать Петроград от Москвы. 17 октября по прямому проводу В. И. Ленин дал предписание удержать Петроград во что бы то ни стало.

С. 249. *Енукидзе Авель Софронович (1877–1937) — > один из основателей бакинской социал-демократической организации, ближайший помощник Красина по руководству подпольной бакинской типографией «Нина».*

...безумной попытки освободить Красина из монументальной Выборгской тюрьмы. — Красину, осуществлявшему военно-техническое руководство боевыми дружинами в период революции 1905—07 гг., грозила виселица. А. Игнатьев и А. Охтенский задумали сложную операцию с сигнализацией, но она провалилась, так как стража заметила, что заключенный подпиливает решетку. Однако охранка не располагала еще всеми данными о Красине. Обвинительные документы опоздали на

сутки. Всё решили считанные часы. Друзья добились освобождения Красина по чисто формальным причинам, на основании финской конституции. И он тут же скрылся.

Богомолов Валериан Иванович (псевд. Карпова Николая Николаевича, 1881–1935), партийная кличка «Черт», член военно-технической группы ЦК РСДРП в дни Московского восстания 1905 г. Грожан Павел Августович (1879–1905) — руководитель московской военно-технической группы ЦК РСДРП.

...устраивал подпольную типографию в 1904 году в Москве, кажется, на Лесной улице... В 1904 г. попытка Красина основать подпольную типографию под прикрытием лавки кавказских фруктов не увенчалась успехом. Типография заработала на Лесной в 1905 г.

А ведь вы написали «Василия Фивейского», «Красный смех»... — В своем слове о Леониде Андрееве, вошедшем в книгу памяти о нем, Блок вспоминал о том потрясении, которое пережил, читая «Жизнь Василия Фивейского», как-то в дождливую осеннюю ночь в имении. «...Что там неблагополучно, — писал он в 1919 г., — что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского». Тем же ощущением неблагополучия и близящейся катастрофы пронизан и «Красный смех», написанный, по словам самого Андреева, «кровью сердца», как отклик на русско-японскую войну.

...работая у Сименса-Шуккерта... — Вынужденно эмигрировав за границу, Красин в Берлине поступил на службу в немецкую фирму «Сименс и Шуккерт» и жил в Берлине до 1911 г. Затем ему предложили возглавить московское отделение фирмы. Под давлением директоров «Сименс и Шуккерт» царское правительство разрешило Красину въезд в Россию, но был установлен над ним строгий негласный надзор. Красин перебрался в Москву, а затем в Петербург в качестве главы общероссийского отдела фирмы.

С. 250. *...у него... были колебания...* — Красин некоторое время входил в «отзовистскую» группу «Вперед». Затем почти вовсе отошел от партийной работы. В 1917 г., когда Ленин приехал в Россию из эмиграции,

Красин дважды встречался с ним и несколько позже вернулся к партийной деятельности.

...и тотчас же встал на работу... — Красин входил в состав дипломатических комиссий во время переговоров Советского правительства с Германией. В 1918 г. он — председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии продовольствием. Затем — член Президиума Высшего совета народного хозяйства, нарком путей сообщения, нарком внешней торговли. С 1924 г. полномочный представитель СССР во Франции, с 1925 г. — полпред в Англии.

Федоров Евграф Степанович (1853–1919) — кристаллограф.
Заболотный Даниил Кириллович (1866–1929) — микробиолог и эпидемиолог.
Филипченко Юрий Александрович (1882–1930) — биолог.

И. И. СКВОРЦОВ

Написано в связи со смертью И. И. Скворцова-Степанова (1870–1928). Впервые напечатано в газете «Известия», 1928, октябрь.

Впервые я видел его в 1900 или 1901 году. На квартире московского либерала была организована платная вечеринка в пользу арестованных и ссыльных. Читали, пели, кто-то очень долго играл на скрипке; затем начали рассуждать. В. А. Гольцев, редактор «Русской мысли», стоя в углу, за трельяжем цветов, взял слово и тоже очень долго говорил жалобное о положении интеллигенции.

— Каковы же задачи дня? — спросил он.

Из другого угла ему ответили:

— Ясно — организация рабочего класса, борьба против самодержавия.

Меня очень удивило то, что прямота и даже грубоватость ответа необыкновенно соединялась с интонацией юноши, а человеку, который сказал это, было, вероятно, за тридцать, был он уже лысоватый, высоколобый, лицо в густой бороде.

Таким прямодушным, честнейшим юношей он остался для меня на всю его прекрасную и трудную жизнь борца, непоколебимого большевика. Встречался я с ним не часто, но каждый раз он возобновлял у меня первое впечатление — прямодушия, бодрости, глубокой веры в свое дело. В 1905 году, когда в Москве издавалась газета большевиков «Борьба», мы встречались почти ежедневно, и меня удивляло, даже несколько смешило, то самозабвение, с которым он и Н. А. Рожков бегали по улицам Москвы, особенно часто мелькая на площади около манежа, а из дверей манежа, еще более часто, постреливали в прохожих скучающие казаки.

Ушел И. И. Скворцов-Степанов, но для молодежи остался прекрасный пример жизни и работы революционера.

Да, прекрасные люди, идеальные товарищи уходят из жизни, но должен сознаться, что хотя лично я провожаю их с глубокой грустью, но над грустью этой все-таки преобладает радостное изумление пред их духовной стойкостью, духовной красотой. Великое дело сделано ими, и хороших наследников себе, продолжателей этого дела, воспитали они.

Смерть каждого из них как бы освещает историческое значение каждого из оставшихся товарищей, освещает их работу новым, все более ярким огнем. Смерть каждого из них, вместе с грустью об ушедшем из жизни, всегда возбуждает одно и то же пламенное желание сказать живущим борцам:

«Ближе друг ко другу, товарищи: крепче дружба — больше силы!»

Комментарии

С. 251. *Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — публицист и литературный критик. В 1905 г. примкнул к кадетам. «Русская мысль» с 1905 г. — орган правого крыла кадетской партии.*

В 1905 году... газета большевиков «Борьба»... — Выходила с 27 ноября по 7 декабря 1905 г. в Москве — легально. Иван Иванович Скворцов-Степанов был одним из организаторов этой газеты. Официальным ее редактором являлся С. А. Скимут.

Рожков Николай Александрович (1868–1927) — историк, социолог, публицист, экономист. В 1907—08 гг. входил в состав Русского бюро ЦК РСДРП.

Ушел И. И. Скворцов-Степанов... остался прекрасный пример жизни и работы революционера. — И. И. Скворцов-Степанов — литератор, экономист, переводчик «Капитала» К. Маркса, автор «Курса политической экономии» (совместно с А. А. Богдановым). В 1917 г. редактор «Известий Моссовета». Первый нарком финансов. С мая 1925 г. — ответственный редактор газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», с 1926-го — директор Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б), член ЦИК СССР и ВЦИК, с XIV съезда КПСС — член ее Центрального Комитета.

МИХАИЛ ВИЛОНОВ

Написано в связи с пятнадцатилетним юбилеем газеты «Правда». Впервые напечатано — «Правда», 1927, май.

Один из хороших советских поэтов, Дмитрий Семеновский, в стихотворении своем «Слава злобе», напечатанном, если не ошибаюсь, в одном из номеров «Прожектора» за прошлый год, сказал:

*Мне тяжело, когда, подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор. Но слава — злобе,
Воинствующей за любовь!*

Если бы это четверостишие говорило не о злобе, а о более глубоком и творческом чувстве, чем она, — о ненависти, — я мог бы взять его эпиграфом к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове. Был такой Человек; думаю, что те из товарищей, которые встречались с ним, четко помнят его.

Он был создан природой крепко, надолго, для великой работы. Монументальная, стройная фигура его была почти классически красива.

— Какой красивый человек! — восхищались каприйские рыбаки, когда Вилонов, голый, грелся на солнце, на берегу моря.

Правильно круглый череп покрыт темным бархатом густых, коротко стриженных волос, смуглое лицо хорошо освещено большими глазами, белки — синеваты, зрачки — цвета спелой вишни; взгляд этих глаз сначала показался мне угрюм и недоверчив. Лицо его нельзя было назвать красивым: черты слишком крупны и резки, но, увидав такое лицо однажды, не забываешь никогда. На бритых щеках зловеще горел матовый румянец туберкулеза.

Вилонов был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его и, бросив в карцер, облили нагого, израненного круто посоленной водой. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь на грязном, холодном асфальте; этим и было

разрушено его могучее здоровье.

В первые дни знакомства он вызвал у меня впечатление человека мрачного, угнетенного болезнью, очень самолюбивого, зачитавшегося книг не по силе его уму и подавленного книжностью. Мне рассказывали легенды о его партийной работе в пятом — шестом годах, о его бесстрашии, нечеловеческой выносливости, и я подумал, что человеку этому естественно было устать и что живет он по инерции, автоматически, как многие жили в ту пору.

Ошибиться было легко: я так много видел людей нервно истерзанных, озлобленных до бешенства, до отчаяния, почти до безумия, — побежденных и смертельно уставших людей. Были и такие побежденные, которые, казалось, завидуют «торжеству победителей» гораздо сильнее, чем ненавидят их. Люди этого типа, помня поговорку «победителей не судят», с явным и злым пристрастием несчастливых игроков судили своих товарищей, тоже побежденных, но оказавшихся неспособными сложить оружие.

Вилонов на первых же выступлениях своих по организации преподавания в Каприйской школе обнаружил удивительную страстность, прямоту мысли и непоколебимую уверенность в правильности отрицательного отношения Владимира Ильича к школе. Говорил он глуховатым голосом человека с больными легкими, иногда вскрикивая несколько истерически, но я заметил, что он кричит книжные слова лишь тогда, когда у него не хватает своих.

Меня, привыкшего слышать личные выпады и едкие колкости нервных людей, Вилонов очень радостно удивил сочетанием в нем пламенной страстности с совершенным беззлобием.

— Ну, а чего же злиться? — спросил он меня в ответ на мое замечание. — Это уж пусть либералы злятся, меньшевики, журналисты и вообще разные торговцы старой рухлядью.

Помолчал и довольно сурово прибавил:

— Революционный пролетариат должен жить не злостью, а — ненавистью.

Затем, хлопая ладонью по колену своему, сказал с явным недоумением:

— Тут, у вас, какая-то чертова путаница: идея воспитания профессиональных революционеров — идея Ленина, а его — нет здесь! Против этой идеи могут спорить только шляпы и сапоги, а ведь тут...

Не договорив, он ушел.

Разговориться с ним трудно мне было: первые дни он не очень ладил со мной, смотрел на меня недоверчиво, как на некое пятно неопределенных

очертаний. Но как-то само собою случилось, что однажды, кончив занятия в школе, он остался обедать у меня, а после обеда, сидя на террасе, заговорил с добродушной суровостью:

— Пишете вы — не плохо, читать вас я люблю, а — не совсем понимаю. Зачем это возитесь вы с каким-то человеком, пишете его с большой буквы даже? Я эту штуку, «Человек», в тюрьме читал, досадно было. Человек с большой буквы, а тут — тюрьма, жандармы, партийная склока! Человека-то нет еще. Да и быть не может — разве вы не видите?

Когда я сказал ему, что для меня вот он, Вилонов, уже Человек с большой буквы, он, нахмурясь, отмахнулся рукой и протянул:

— Ну-у, что там? Таких, как я, — сотни, мы — чернорабочий народ в революции, у нас еще не всё... в порядке. А отдельные фигуры, вроде Ленина, Бебеля, — не опора для вашего оптимизма. Нет, не опора.

Он отрицательно покачал бархатной головою, закрыл глаза и потише, отрывисто произнес:

— Мастеров, практиков, художников революции, как Ленин, Бебель, да еще двое, трое... и — все тут! А человека — нет еще. Нельзя быть человеком. И жить ему негде, не на чем. Почвы нет. Он явится тогда, когда Ленин и вообще мы — расчистим ему место. Да.

Встал и начал шагать по террасе, возбужденно жестикулируя. Оказалось, что он весьма склонен философствовать о будущем, и я бы сказал, что у него было развито чувство осязания будущего. Он видел, нащупывал, — хотя как бы сквозь туман, сквозь темноту, — какие-то своеобразные формы общественности, каких-то особенно оригинальных людей. Помню, я не очень понимал его, да, кажется, и не очень внимательно слушал: меня в нем интересовало не это. Но я понимал, что его представления независимы от социалистов-утопистов и что он видит в будущем человечество сильных, человечество героев* развившееся до степени космической силы. Впоследствии я не один раз наблюдал романтизм революционеров-рабочих, — романтизм, который как будто конфузит их и о котором они разрешают себе говорить лишь в минуты исключительные.

Меня особенно заинтересовали его слова о злости и ненависти, он часто, в разных формах, повторял эти слова, и чувствовалось, что за ними скрыта основная тема, вокруг которой выются все мысли этого большого человека, молодого, сильного, но уже осужденного на смерть идиотами и скотами.

Я чувствовал, что Вилонов — человек, как-то своеобразно

ненавидящий. Ненависть была как бы его органическим свойством, он насквозь пропитан ею, с нею родился, это чувство дышало в каждом его слове. Совершенно лишенная признаков «словесности», театральности, фанатизма, она была удивительно дальнзоркой, острой и тоже совершенно лишена мотивов личной обиды, личной мести. Меня удивила именно чистота этого чувства, его спокойствие, завершенность, полное отсутствие в нем мотивов, посторонних общей идее, вдохновлявшей ненависть. А удивило это меня потому, что после пятого — шестого годов я увидел очень много революционеров, которые были таковыми Христа ради, из авантюризма, по «увлечениям молодости», по мести за карьеру, испорченную случайным арестом, из романтизма, даже из страха перед революцией и еще по многим мотивам, весьма личным, очень далеким от идеи революционного социализма, видел, наконец, и революционеров, бывших таковыми «скуки ради».

Вилонов, человек безукоризненно правдивый в своем отношении к людям, прямодушный до резкости, говорил:

— Вы, может, думаете, что побои имели какое-то значение для меня? Никакого. Здоровья, конечно, жаль. Но не могу же я винить палку за то, что меня ударили ею. Меня били не один раз. И ведь всё равно, кто бьет: отец, мать или чужие. Бить человека — это в порядке жпзпп. Да и — что мне побои? Вот я какой!

Забыв о своем туберкулезе, он медленно поднял руку на уровень головы и опустил ее до колена, указывая на свое стройное тело.

— Когда тюремщики топтали меня ногами, я, конечно, чувствовал и боль и обиду, но, право же, гораздо больше — страх: что, если б на моем месте оказался другой товарищ, не такой крепкий, как я?

И, покашливая, задыхаясь, он продолжал потише, нахмутив густые брови:

— Ведь они всякого могут растоптать, попади им в злую минуту Ленин, они и его... Вот где ужас! Главное-то и непростительное преступление классового общества в том, что оно воспитало в людях страсть к мучительству, какое-то бешенство. С наслаждением мучают, сукины дети, это я очень знаю! Вот наслаждение-то и есть преступность, которую уж никак, никто не оправдает. В природе такой гадости — нет! Кошка мышью играет, так она, кошка, — зверь и никаких подлостей лицемерных, вроде гуманизма, не выдумала.

Он долго говорил на эту тему, рассказывал об истязаниях в Орловском центре, о страшных драмах на Амурской колесной дороге и заставил меня почувствовать, что ему знаком лишь один страх — страх за жизнь

товарища.

А к себе он относился так, как будто не понимал, насколько опасно болен, хотя однажды сказал очень спокойно:

— Ну, меня ненадолго хватит.

В праздничный день школа поехала осматривать Неаполитанский музей, Вилонов остался, пришел ко мне и сердито попросил:

— Дайте почитать что-нибудь легкое. Плохо чувствую себя, душит, и голова чугунная.

Взял «Простое сердце» Флобера и ушел читать в сад.

Дул горячий, раздражающий нервы ветер из Африки — сирокко. Над морем опаловое небо, как бы пропыленное знойной пылью; море цвета снятого молока и кипит, рычит, бухая в камень острова высокой волной. Яростно трещали цикады, сухо шумел жесткий лист олив, — в такие дни юг Италии особенно богат различными драмами.

Вечером я сидел на берегу, в серых, горячих камнях; за островом Искией опускалось солнце, окрасив море в неестественный, лиловатый цвет. Волна била в камни, брызги ее сверкали радужно. Медленно, тяжелыми шагами подошел Вилонов, сел рядом со мной, положил на колени мне книгу.

— Прочитали?

— Ну, да.

— Понравилось?

Он снял шляпу с бархатной своей головы, тщательно укрепил ее в трещине камня, чтобы ветром не сдуло. Покашлял, вытер пот с лица и спросил:

— Ведь если я скажу: хорошо, а — не нравится, так вы мне не поверите?

Я ответил, что не очень тороплюсь верить, но хотел бы понять, а он согнулся, зачерпнул ковшом широкой ладони горсть мелкой гальки и долго молчал, бросая отшлифованные камешки в брызги воды. Потом ворчливо заговорил:

— Не люблю жалостной литературы! В каких людях она рассчитывает пробудить жалость и прочие добрые чувства? Он «чувства добрые лирой пробуждал», а его застрелили. Командующие классы властвуют посредством насилия, — на кой черт нужны им добрые чувства? Что же — это мы, что ли, должны заразиться жалостью к несчастным и всяким униженным? Слезой грязи не смоешь. Тем более не смоешь крови. А задача — смыть с людей кровь и грязь.

Взяв книгу из моих рук, он поднял ее, как бы показывая ее кому-то вдали, в пустоте.

— Это — хорошо! Как он мог написать глупую кухарку столь... убедительно? Даже странно, как будто видишь ее. Интересный фокус.

Пересыпая гальку с ладони на ладонь, он продолжал задумчиво и тихо:

— Как-то... обидно видеть, что книги лучше людей, а ведь это верно: лучше! Как можно, будучи явным буржуем, написать «Углекопов», «Разгром» или «93-й год»? Непонятно.

Бросил камешком в книгу на колене моем и спросил:

— Знаете, что тут хорошо? Ненависть автора, правда ненависти. Вот так и надо: спокойно, решительно, без оглядки!! Когда говорят или пишут о святой, великой и еще какой-то там правде, я понимаю это только как правду ненависти. Никакой другой правды не может быть. Всякая другая — ложь. Вот — Ленин это понимает.

Помолчав, он прибавил:

— Пожалуй, он один и понимает.

Вилонов бросил гальку, встал, встряхнулся:

— Уйдемте отсюда, тут — оглохнешь, да и сыро.

Дорогой, медленно шагая в гору, спросил:

— А что, есть какая-нибудь формула ненависти?

— Не знаю.

— Я где-то прочитал, что чувство ненависти стремится в корне уничтожить не только всё, что ее возбуждает, но даже и самую мысль о возможности существования таких возбудителей. Там как-то мудрено было сказано...

Он задыхался, но когда я сказал, что вредно ему говорить, поднимаясь в гору, он не обратил внимания на мои слова, продолжая:

— Классовая ненависть — самая могучая творческая сила. Читали вы «Государство будущего»? По-моему, Бебель в этой книжке недалеко смотрит. Это — ремонт, а не новая постройка.

И, остановись, сказал с усмешкой:

— Надо отдохнуть. Эдакий идиотский ветер!

В другой раз он засиделся со мною до поздней ночи; весь день ожесточенно спорил, возбуждение его разрешилось кровохарканием, и он был несколько угнетен этим. Сидели мы на маленьком дворике, залитом цементом, на каменных ступенях лестницы в сад, разбитый по горе, среди скал.

Вилонов снова говорил на свою тему о единой правде — правде ненависти, но говорил как будто не для меня, а для того, чтоб еще раз послушать свои мысли. Потом надолго задумался, замолчал, отмахиваясь от комаров веткой акации, и наконец предложил:

— Вот я расскажу вам одну историю, может быть, пригодится, напишете когда-нибудь.

Пересел ступени на две выше меня, прислонился плечом к стене и рассказал:

— Где-то на Урале, — помнится, на Сергино-Уфалейских заводах, — была семья рабочих: отец-старовер, два сына и две дочери, одна — замужем за конторщиком — жила с отцом, другая отбилась от семьи и работала в заводской школе помощницей учительницы. Она ввела старшего брата в кружок рабочих, а старший скоро потянул за собою и младшего. Через некоторое время среди рабочих появились листки, затем последовал обыск в школе; отец доглядел, что старший сын прячет что-то в бане, на чердаке; нашел спрятанное, прочитал, позвал сына. «Ты — что? Против царя?» Тот ответил честно. «Ну, — сказал отец, — я тебе приказываю: брось это!» — «А если не брошу?» — «А если не бросишь, так я вот эти бумаги сам начальству объявлю, понял? И сестре скажи, чтобы не смела пакостничать, голову оторву ей!» Сын был тоже неподатлив характером, угроза отца не испугала его. Сестру ненадолго арестовали, а выпустив, запретили ей учительствовать и отдали, конечно, под надзор полиции, принудив ее жить в доме отца. Отец, старшая сестра, зять — стали всячески травить ее, дважды жестоко избили, братья вступились за нее, и в доме началась жизнь адова. В январе, накануне своих именин, дочь — ее звали Татьяна — внезапно умерла. Старик отказался похоронить ее в одной ограде с матерью, заявив: «Я не знаю, отчего она сдохла, может, сама на себя руки наложила». Братья были уверены, что старшая сестра, с благословения отца, отравила Татьяну, но доказательств этому не было, да братья и не решались искать их. Отец очень приблизил к себе старшую сестру и зятя, братьев всячески стесняли, следили за каждым их шагом. Старший, не стерпев, ушел из дому, а младший был еще несовершеннолетен и хотя вспыльчив, но характером нетверд. Отец и зять в несколько месяцев забили его до идиотизма и немоты, — во время побоев парень перекусил себе язык, рана заросла плохо, и парень стал говорить так, что его уже трудно было понимать. А старший брат начал пьянствовать, буянить, с завода его рассчитали, он ушел куда-то и пропал без вести.

Как сейчас пред собою вижу маленький дворик виллы Спинола, с

пальмой посредине его; беспощадно ярко светит луна, придавая цементу двора блеск оксидированного серебра; шумят, качаются деревья в саду над головами нашими. Темно-серая стена поросла мхами, покрыта вьющимися розами, к ней прижался большой круглоголовый человек с суровым, спокойным лицом. Он — в синей сатиновой рубахе, и сатин светится, как шелк.

Рассказывал Вилонов бесстрастно, без лишних слов, покашливал и отирал рот платком, оставляя на нем темные пятна крови.

— Вот как отстаивают они себя, свое, — сказал он, вздохнув со свистом, обрывая с ветки акации ее мелкий лист, подбрасывая его на ветер. — Я, конечно, старика понимаю, что ж? Дед, отец его всю жизнь работали, сам он лет сорок работал, дом хороший, в два этажа, садишко, огород, две коровы, свиньи и вообще — хозяйство, будь оно проклято! По бревнышку, по кирпичику, по копейке создавалось, да! И, кроме его, никакой иной правды человек не знает, да и узнал бы, так не принял ее. А дети, сразу трое, пошли против этой правды, грозят разрушить ее, говорят о какой-то отдаленной, неведомой, непонятной. Ну, конечно, злые враги, и щадить их — нечего. Да, я старичка понимаю! Но, будь я на месте старшего брата, я бы за сестренку да за младшего горячо заплатил отцу. Тоже — не пощадил бы!

Вилонов крепко постучал кулаком по колену.

— Много я, товарищ, таких историй знаю и слышал. Ну, не таких уж... страшненьких, поскромнее, а суть-то — одна! Может быть, скромные-то истории еще злее по скрытым чувствам, по ядовитым думам в бессонные ночи. Иной раз даже как будто жалко людей: до какого озлобления доведены, и — ведь чем? Только жадностью к делу рук своих да к меновому знаку — копейке. А тут вы, писатели, подсказываете: жалея! Задумаешься над книгой: а может, недоглядел чего-то, не понял, не почувствовал? Потом — встряхнешься: нет, одна только правда есть — правда ненависти к старому миру. Одна...

Он тяжело встал, опираясь рукою в камень стены.

— Спать пора. Пойду.

И, пожимая широкой ладонью руку мою, сказал мне простодушный, хороший комплимент:

— Слушаете вы хорошо. И спрашиваете тоже хорошо. Ушел, сопровождаемый своей тенью, очень темной и густой в эту светлую ночь.

Его разногласия с организаторами школы все обострялись, и через несколько дней он и еще, кажется, двое товарищей, — из которых один был агент полиции, — уехали в Париж к Владимиру Ильичу.

Из этой поездки Вилонов возвратился на Капри уже почти совсем без сил, но еще более твердым ленинцем. Его пришлось отправить в Давос, где он вскоре и умер.

Долго, как видите, берег я память о нем, все хотелось написать как-то особенно хорошо. Но очень трудно писать о людях такого типа, да и не привыкло перо русского литератора изображать настоящих героев.

Но вот к пятидесятилетию работы «Правды» я счел за лучшее всяких поздравлений рассказать ее неутомимым работникам о Человеке, который, на мой взгляд, так хорошо понимал и чувствовал правду ненависти.

Комментарии

С. 253. *Семеновский* Дмитрий Николаевич (1894–1960) — автор ряда поэтических сборников. Цитируемые стихи «Слава злобе» были помещены в журнале «Прожектор» за 1925 г.

...к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове. — С Вилоновым Никифором Ефремовичем (Михаил — партийная кличка, 1885–1910) Горький познакомился 1 января 1909 г., о чем на следующий день сообщал Е. П. Пешковой: «Странный день был вчера: началось с того, что явился один рабочий с Урала, привез массу хорошего, бодрого, пришел как бы символическим новым годом» (Арх. Г., IX, 59).

Вилонов был... большевик; несколько раз сидел в тюрьме... — Начало революционной деятельности Вилонова относится к 1901 г., в это время Вилонов работал в Калужских железнодорожных мастерских. Вступил в социал-демократическую организацию в Киеве в 1902 г.; стал сторонником «Искры». Впервые арестован в 1903 г. и выслан в Екатеринослав, под особый надзор полиции. Позже был в ссылках в Енисейской и Астраханской губерниях, откуда бежал.

С. 254. *...легенды о его партийной работе в пятом-шестом годах...* — Вилонов принимал деятельное участие в революции 1905—07 гг. Был председателем Исполкома Самарского Совета рабочих депутатов; в Екатеринбурге провел выборы делегатов на IV съезд партии; работал организатором Лефортовского района в Москве; входил в состав Московского комитета РСДРП.

...на первых же выступлениях своих по организации преподавания в Каприйской школе... — Каприйская школа — школа для рабочих, профессиональных революционеров. В марте 1909 г. Горький знакомил с возникшим замыслом И. П. Ладыжникова. «Мы, — писал он, — Ал. Ал., рабочий-уралец, живущий здесь я и Луначар[ский] — пришли к необходимости устроить за границей курсы для выработки организаторов и пропагандистов. Устраивается это так: будут извещены о курсах организации в России, и организации эти, выбрав из своей среды наиболее способных рабочих, пошлют их за границу месяца на 3–4... Господи боже

— что будет, если нам это удастся! Сойду с ума от радости!» (Арх. Г., VII, 190–191) Ал. Ал. — Богданов. — Занятия в школе начались в августе 1909 г., а в июле Вилонов ездил в Россию набирать слушателей. На нем лежала вся организационная сторона дела, в том числе переписка.

...отрицательного отношения Владимира Ильича к школе. — Принципы организации школы разрабатывались помимо ЦК РСДРП и Большевистского центра. Это само по себе указывало, что школа будет носить фракционный характер. Школа и явилась фракционным центром — сторонников отзовизма в политике, махизма в философии, организовавшихся в 1909 г. в антипартийную группу «Вперед», возглавляемую А. А. Богдановым. 8—17(21–30) июня 1909 г. Собрание расширенной редакции «Пролетария» под руководством В. И. Ленина осудило «отзовизм» как «ликвидаторство слева» и Богданов был исключен из рядов большевиков. Обращаясь к слушателям Каприйской школы в письме от 30 августа 1909 г. и объясняя, почему он отказался быть в числе лекторов, В. И. Ленин разъяснял, что школа носит антипартийный характер. «...*Действительный* характер и направление школы, — писал он, — определяются не добрыми пожеланиями местных организаций, не решениями «Совета» учащихся, не «программами» и т. п., а *составом лекторов*» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 198). Среди слушателей начался раскол — на сторонников Ленина и Богданова. Убедившись во фракционном характере школы, Вилонов и еще пять ленинцев послали в большевистский «Пролетарий» — для опубликования — протест против действий лекторов, ведущих на занятиях полемику с ленинцами. За это были исключены из состава школы. Выявились несогласия и среди лекторов, что привело в скором времени к разрыву в отношениях между Горьким и Луначарским.

С. 255. *...идея Ленина...* — Сама идея воспитания, профессиональных революционеров была выдвинута и аргументирована В. И. Лениным в его работе «Что делать?» (1902).

...кончив занятия в школе, он остался обедать у меня... — Занятия проходили у Горького, на вилле «Спинола». Сам Горький читал слушателям Каприйской школы курс русской литературы.

Я эту штуку, «Человек»... — Имеется в виду поэма Горького «Человек», впервые напечатанная в сборнике «Знания» за 1903 г. (1904).

С. 257. ...школа поехала осматривать Неаполитанский музей. — А. В. Луначарский среди прочего читал каприйцам курс по истории искусства и неоднократно возил их на экскурсии — в Неаполь, Помпею.

С. 260. ...вижу маленький дворик виллы Спинола... — Вилла «Спинола» — в прошлом средневековый монастырь.

С. 261. ...он и еще, кажется, двое товарищей, — из которых один был агент полиции. — С Вилоновым к Ленину уехали пять ленинцев. Агентом полиции оказался А. С. Романов; вернувшись в Россию, он и выдал слушателей школы царским властям. В письме своему биографу Горький позже писал: «В Париж, к Ленину Михаил поехал по соглашению со мной» (Арх. Г., XI, 319). Встреча Вилонова с В. И. Лениным произошла 3(16) ноября 1909 г., и в тот же день Ленин писал Горькому: «Я рассматривал школу *только* как центр повой фракции. Оказалось, это неверно — не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков. Вышло так, что кроме противоречия старой и новой фракции на Капри развернулось противоречие между частью с.-д. интеллигенции и рабочими-русаками, которые выведут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло... Такие люди, как Михаил, тому порукой» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 219). Отколовшиеся фракционеры перенесли занятия в Болонью, но ехать туда в качестве лектора Горький отказался.

...Вилонов возвратился на Капри... — Вилонов приехал на Капри в январе 1910 г. и пробыл до марта. На Пленуме ЦК большевиков, проходившем в январе — феврале 1910 г. в Париже, Вилонова было решено кооптировать кандидатом в члены ЦК.

...вскоре и умер... — Н. Е. Вилонов умер в Давосе 1 мая 1910 г.

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

Написано в связи со смертью М. М. Коцюбинского, последовавшей 12 апреля 1913 г. Впервые опубликовано на русском и украинском языках в «Літературно-науковому віснику», 1913, кн. 6, а также в журнале «Вестник Европы», 1913, № 7. Очерк вошел с небольшими изменениями в кн.: *Горький М. Воспоминания*. «Книга», Берлин, 1923.

«Прекрасное — это редкое», — говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благостное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра он — «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его мягкий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявлений человеческого», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение...

Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро,

угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо и простодушно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу так же, как и вы, синьор, но — маленькие люди — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих вместо одного, — ведь он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична, и это хорошо, знаете! Ведь романтизм наиболее человеческое настроение; мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну да! Но — ведь он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай: щенилась, впервые и очень мучительно, большая романская овчарка; щенята рождались мертвыми; собака, истерзанная болью, почти издыхала, и эта тяжелая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера, тоже суки, но еще не рожавшей.

Маленькая, изящная собака поражала напряженностью своих ощущений: с тихим воем бегая вокруг овчарки, она слизывала слезы с ее измученных глаз и сама плакала; мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям и, тихонько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи, и все плакала, — капали слезы из ее прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного жутко.

— Это — удивительно! — волнуясь, сказал Коцюбинский. — И я ничем иным не могу себе объяснить такой силы чувства у собак, как тем, что люди создали уже вокруг себя неотразимую и внушительную атмосферу человечности, которая способна перевоспитать даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбинского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные, ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями ботаника, говорил о них, как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и рассказывал о нем:

— Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его больное сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням, горячо нагретым солнцем, в жарком воздухе, густо насыщенном запахами цветов, но он не щадил себя, гулял много, часто — до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему: «Зачем вы позволяете себе уставать?» — он отвечал, легко побеждая советы благоразумия:

— Хочется видеть как можно больше: мне ведь недолго жить на земле, а я ее — люблю...

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледно-розовые мальвы, — весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

— Здоровеньки були! Як живеться на чужині?

Сконфузился и пошутил:

— Знаете — немножко сентиментальным становлюсь! Но ведь и вам, думаю, нередко вздыхается по белой березе, которой вас секли, бывало? Э, все люди — люди, а кто не человек — да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нем:

«Чувствую себя неважно, мне только и хорошо на Капри. Впечатления от каприйской природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что положительно оздоравливают меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный воздух острова не был полезен ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, — ее скорбями он жил, ее муками мучился.

Бывало, видишь: идет он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем вдумчивым лицом, как на портрете Жука, — видишь и догадываешься: думает о своей Черниговщине.

Так и есть: пришел в свою белую комнату, сел утомленно в кресло и говорит:

— Знаете, там, по пути к Area Naturale, стоит хата совсем такая, как у нас! И люди в ней — наши: дидусь, такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой, и баба такая же, да еще и дивчина с карими очами — полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то — всё — и солнце — как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о будущем ее, о ее людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе

загубленной ныне «Проевши». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всем подумал, и то, что знает, знает хорошо.

В июле 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Всё время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где гуцулы-номады проводят со своими стадами все лето. Если бы вы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов! Собираю материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме, из Чернигова, ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью; но было необычайно красиво, а это — главное».

Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты ее, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. «Чувство недовольства собою у меня очень развито», — не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными, даже, и как-то совестно перед литературой и читателем», — писал он в 1910 году.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

— Вам нравится «Самотній»?

— Это лучшее из трех ваших стихотворений в прозе, а они все, на мой взгляд, очень хороши...

Он грустно улыбается:

— А я прочитал сегодня утром, и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так нужно писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

— Да там еще в конце гордый крик есть, — это уж и не искренно, а так сказано — для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит — не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему, и всегда он жестоко казнил себя.

— Смотрите, как это хорошо:

*Жаль маю до землі,
Бо тіні, що вкривають її,
Пересунуться на инше місце —
І де було тьмяно и сумно,
Знов ляже золото сонця...*

Он усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение...

Однажды ему сказали:

— Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх»!

Он небрежно отмахнулся рукою:

— Да это ж заимствовано! И неумело сделано, — в жизни этот смех страшней я законней.

Иногда было досадно, чаще — больно слышать такие возгласы: много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее — меткое слово, звучную фразу.

— Дорогой мой, — сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, — столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то до слез простых и ласковых песен! Так бы дождем с неба и опрокинул все это на землю, на людей, а — не удастся, не умеется!

Не удавалось, — да, но — он мог бы, он бы сумел написать прекрасные, большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и — красиво, оригинально, по-своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства почти в каждом письме его звучала, всё усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то неладно. Сердце работает все хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет сил уже приняться за что-любое другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит — создалось трудноодолимое препятствие. А между тем вилла в четыре комнаты за 65 лир с доброй хозяйкой манят и улыбаются».

И наконец 9/X—912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А. М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего — не могу работать. Остается попробовать героическое средство: лечь в больницу на продолжительное время, для чего на днях

отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня, наконец, в Киев, уложили в клинику как «тяжелого сердечника». Однако я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне все, что я люблю, — цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет, и оттого кажется еще теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово и даже в этот день, сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка, все-таки нашел в душе это слово, милый...

Он знал, что скоро умрет, и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которую многие рисуются столь лживо.

— Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! — сказал он однажды. — Я верю в победу разума и воли человека над смертью, так же как в то, что сам — скоро умру. И еще умрут миллионы людей, а все-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, — мы будем отходить в небытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут ее красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооруженный знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены формы тонко чувствовалась им.

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав и цветов, он говорил:

— Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески...

Он очень умел улыбаться так, всему — улыбкой друга. По поводу смерти Л. Н. Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но — не знаю, стыдиться ли? — и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбинского определилась как тяжелая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок отцвел, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми, — насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

Комментарии

С. 262. *Гонкуры, Жюль* (1830–1870) и *Эдмон* (1822–1896) — французские писатели, «натуристы». Горькому нравились «сухие, четкие, как рисунки пером», книги Гонкуров. Выше других он ставил «Братья Земганно» Эдмона Гонкура.

...план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства... — Реализацией этого плана явилось издательство «Парус» (1915—18), где Горький попытался объединить литературные силы всей России, включая и провинцию и нацменьшинства, что было связано с общей идеей Горького о «духовном собирании Руси».

Фердинанд Бомба — *Фердинанд II* (1810–1859) — неаполитанский король, прозванный «Бомбой» за варварскую бомбардировку восставшей в 1849 г. Мессины. *Руджиеро Сеттимо* (1778–1863) — президент Сицилии в недолгую пору освобождения ее от неаполитанского владычества.

С. 264. *Он любил Капри...* *Коцюбинский* Михаил Михайлович (1864–1913) в первый раз был на Капри в 1905 г.: он лечился в Берлине, а затем путешествовал по Италии, Швейцарии, Австрии. Когда в 1909 г. болезнь снова обострилась, Коцюбинский решил ехать на Капри, привлеченный туда не только красотой «острова чудес», но и возможностью встретиться там с Горьким. Отправляясь на Капри, Коцюбинский заручился рекомендательным письмом к Горькому В. Г. Короленко. И уже на следующий день по приезде, 2 (15) июня 1909 г., он был на вилле «Спинола»: «Длинный визит у Горького, с 2 до 11 часов вечера, напряженная беседа на темы, интересующие нас обоих». Коцюбинский затем жил на острове июнь — июль 1910 г., бывал у Горького в те две недели, которые гостил на Капри В. И. Ленин. В последний раз Коцюбинский провел на Капри зиму 1911/12 г. — жил в доме Горького. Впечатления его от острова отложились в девяти миниатюрах, о которых он писал своему переводчику М. Могилянскому: «Думаю попробовать написать кое-что о Капри — это будут мелкие картинки: солнце, море, природа и немного о человеке, который все это любит».

...на портрете Жука... — *Жук* Михаил Иванович (1883–1964) —

украинский художник, ученик и последователь польского художника Ст. Выспянского, работавшего в монументально-декоративном стиле. Жук близко знал Коцюбинского и дважды писал его — пастелью и маслом. Горький имеет в виду портрет Коцюбинского 1909 г.

...по нуми к Area Maturate — Натуральная арка, с ее причудливым силуэтом на фоне пиний, дикорастущих апельсиновых деревьев и мирт, расположенная в глухой нетронутой части острова, была местом, куда Горький любил водить гостей на прогулку.

С. 265. *...о благотворной работе загубленной ныне «Просвіти».* — Общества «Просвиты» были организованы во многих городах Украины и имели целью способствовать развитию украинской культуры, расширению народного образования и т. д. Но энергичная работа велась только в Полтавской «Просвите», которую возглавлял Короленко, и Черниговской — здесь она даже имела филиалы в других городах. Черниговской «Просвитой» в 1906—08 гг. руководил Коцюбинский, пока не был исключен из ее состава по распоряжению губернатора.

Криворивня — живописное гуцульское село на берегу Черемоша, излюбленное место отдыха многих украинских деятелей культуры начала века. Криворивню называли украинскими Афинами.

«Мои рассказы...»...писал он в 1910 году. — Летом 1910 г., во время пребывания Коцюбинского на Капри, состоялась договоренность между Горьким, Пятницким, как представителями издательства «Знание», и Коцюбинским об издании сочинений Коцюбинского в «Знании». «...«Знание» купило у меня право на издание всех моих сочинений в русском переводе», — сообщал жене обрадованный Коцюбинский. Два тома его сочинений вышли в «Знании» в 1910—И гг.

Это лучшее из трех ваших стихотворений в прозе. — Имеются в виду: «Тучи», «Усталость», «Одинокий» («Самотній»), объединенные общим названием «Из глубины».

С. 266. *Жаль маю до землі..* — Из стихотворения «Усталость».

Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх» — В новелле «Смех» (1906) речь шла о месте интеллигента-демократа в революции, об

обнаружившемся у него перед лицом грозных событий 1905 г. разрыве между словом и делом.

...работа так утомляет меня... — Коцюбинский служил в статистическом бюро в земской управе в Чернигове. Расстаться с земствами ему удалось лишь в 1911 г., когда Киевским обществом помощи деятелям украинской литературы, науки и искус-«ства ему была дана пожизненная пенсия в две тысячи рублей ежегодно.

...Вилла в четыре комнаты за 65 лир... — М. Ф. Андреева подыскала Коцюбинскому частный пансион — для всей семьи Коцюбинских.

С. 267. *Образцов* Василий Парменович (1851–1920) — профессор-терапевт.

...сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенко... — Лысенко Николай Витальевич (р. 1842), украинский композитор, умер 24 октября 1912 г.

...солидно вооруженный знанием естественных наук... — Коцюбинский окончил народную школу в г. Баре, затем Шаргородское духовное училище, в 1891 г. сдал экзамен на звание народного учителя, в 1892–1897 гг. работал в системе министерства земледелия — в комиссии по борьбе с филлоксерой — вредителем виноградников.

...«Больно мне было читать...» — Ответ на письмо Горького от 7(20) ноября 1910 г.

ИВАН ВОЛЬНОВ

Написано вскоре после смерти И. Е. Вольнова, наступившей 9 января 1931 г. Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1931, № 5–6.

Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель — появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется в Кавиди-Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии, — до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью Орловском «центrale», каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили соленой водой; раствор этот разъел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии, и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времен это не было исключительным случаем, и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

— Мужики там были — хорошие, грамотные, я довольно плотно укрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге — не думал. Но как-то ночью приходят двое — и обрадовали: «Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там еще что-то открылось за тобой, и тебе, за грехи, добавить надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты беги! Урядника напоили, спит, проснется — еще напоим. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушел. Лошадь — запряжена, вот он отвезет тебя; доедешь до своих». Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало — значит, или каторгой угостит, или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором

боевой дружины, участвовал в экасах; получая на юге литературу из Греции, был выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлопал. Вообще — повесить меня было за что, ну и — кроме того — шея есть. Расцеловался с приятелями и — айда! Тихонько, черепахой, прополз по России; потолкался кое-где за границей, вот — метнуло сюда.

Его спросили, как поправилась Европа. Он отвечал осторожно: «А не знаю еще! Пестро очень в глазах и толпеж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят — замечательно?»

В то время ему было, вероятно, лет 25–27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом — плотная шапка темных, туго спутанных волос, на круглом, безбородом лице — карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие темные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы — признак повышенной чувственности.

Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невеселый блеск глаз, затененных густыми ресницами, и на краткий момент круглое, грубоватое лицо Вольнова казалось необычным, даже — загадочным. Говорил он вдумчиво и скупое, немножко ворчливо и по складу речи, по манере ее часто казался старше своего возраста, а вообще же от его речей веяло свежестью чувства, прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нем как бы что-то надломлено, скрипит и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые педели его жизни на Капри сложность и неопределенность психики Вольнова вызвали в русской колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов: Николай Олигер, Алексей Золотарев, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырехэтажной фамилией Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно раздерганный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя; он задорно подчеркивал свое дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой и любил говорить: «Жизнь — дурная привычка». Говорил — и много — о Шопенгауэре, о

Генрике Ибсене, причем казалось, что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодежь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин, мелькали Новиков-Прибой, Саша Черный, Илья Сургучев и еще многие. Собралось человек десять живописцев. Все это была молодежь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная «углублять психологию», разрешать «трагическую загадку бытия» и «проблему личности». Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда была дешевой и кисленькое каприйское вино тоже дешево.

Ивана «загадка бытия», должно быть, не интересовала, так же как и «проблема личности в ее отношении к обществу». Он внимательно слушал всё, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он — человек весьма наблюдательный, способный включать пережитое в твердую и точную форму. Как уроженец области коренных «великороссов», он отлично владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н. С. Лескова: толпеж, галдеж, угнездился, блезир, скудость, мниться — и много других. Но — спрошенный, любит ли он Лескова, — Вольнов ответил:

— Рассказа два-три читал. «Леди Макбет» — очень хорошо, а другие — не помню. Да и — не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

— Может быть — себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил и как-то, после пирушки в маленьком кабачке, идя домой, сказал, вздохнув:

— Все какие-то мореные, без вина — не веселятся, хороших песен — не знают. Про революцию говорят, как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и неверно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего литературы: все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонек;

иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о «смысле бытия». Бывало — спросишь его:

— Вы что всё молчите?

— Я мало читал, не все понимаю, о чем говорят, что пишут, — отвечал он. — Стихоплет этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные, «иже во святых».

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

Вот бы сюда согнать орловских, а то — сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Глядите, черти, здесь на голые камни земля корзинками натаскана, ее лопатами пашут, а она круглый год апельсины родит, оливки, бобы! А у вас там земля летом — чугунная сковорода, зимой — саван, под ним — одурь, болота, овраги, чёрт ее знает что!

И неожиданно, он заключал:

— А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но бессмысленную и всегда, во всем враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломни на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

— Вишь ты, как прет, черт ее дери! Куда ни ткнись, — везде растет что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а — зачем он? Как насмешка всё это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

— Наши темные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с натуги. Круглый год работать не под силу им. Привыкли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Алляссио за Генуей; там жил Виктор Чернов, человек настолько известный, что вспоминать о нем неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то — ночью «на огонек»; придет, сядет и, вздохнув, спросит:

— Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, покачиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжелая шапка, рассказывал о курных избах

орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтеры, а возвращаются оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

— Пьяницы, драчуны, жен калечат, ребятишек бьют — беда! Кричат бабам: «Ради вас, сволочей, раньше смерти под землей живем!» Детей в школу не пускают: «Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!» Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной природы, изошряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, он угрюмо и твердо сказал:

— Ну, это вы — бросьте! Сегодня у вас — разум, а завтра будет — бог! А в бога верят только человеконенавистники, дворяне. Вот — Бунин в бога верит. Это — злая вера.

Его спросили:

— А вы во что верите?

— Ни во что, — ответил он; затем, потише, добавил: — В будущее верю. В человеческий разум. Другого — нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Куракина.

— Князь — хилый такой старичок, а злой, пес, был. Притащили его к речке и давай окунать в воду, орут: «Чистоту любишь? Мы тебя выстираем, выполощем». В доме, во дворе, ломают всё, как свиньи, в щепки дробят! Я кричу: «Да — сукины дети — зачем? Ведь это все — ваше!» Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят, бабы из-за пледа разодрались, — отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто все людское горе. Такое было неистовство, что и страшно и смешно. Старик один — тихий такой старичок был — нашел где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так — мочится в нее. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девицы сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да — не просто пришли да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там — бросили.

Он засмеялся и, встряхнув головою, махнув рукой, продолжал:

— Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шкафик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он помешал мне. Опомнился, когда мне в ухо заорал кто-то: «Круши, Иван Егоров!» Зараза!

И — снова помолчав:

— Пьяница один, шахтер, бесшабашный человек, взял кутенка, сунул за пазуху и пошел прочь. Догнали: «Покажи, — что украл? Подай сюда!» И — кутенком — по роже его! В кровь избили. В день погрома — никто не

воровал, а потом, ночью, на телегах ездили, осколки и всякую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба. Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме били. Хотите — верьте, хотите — нет, а когда били меня, ногами топтали, разумеется — больно было, но, кажется мне, что я и в тот час думал: «Ладно, учите, годится!»

Он снова негромко и ненадолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться, и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только — личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и — смеялся весь, встряхивая головою, закрыв глаза, притопывая ногами, хлопая руками по бедрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесенное слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было объединить этот молодой, даже почти детский смех с тяжелым грузом страшного, что нес в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

— Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

— Хочется, да не знаю, как взяться! — сказал он. — Даже — пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг.

Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

— За плохим охотятся умело, — говорил он, и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды.

Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знали деревню как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали, — это «дачевладелец», хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты; к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивался по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стерто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова, как «Мужики», «В овраге», «Новая дача». Все, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это — ненадежная личность; в 1902 году он начал бунтовать и тотчас же встал на колени перед харьковским губернатором Оболенским; в 1905–1906 годах он разорял культурные «дворянские гнезда», жег библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а — по Бунину — содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадежная личность была в то же

время страшной личностью. Иван Вольнов довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бутылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жесткие свои волосы, он, сердито глядя в стакан, сказал:

— Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его [мужика] не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нем и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутонические.

— Платонические?

— Знакомый мой, студент-филолог, Платона — Плутоном называл и всех философов — плутонами, а философию — плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

— Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно — вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет, на смех соседям: «Иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бил, валяй ты меня!» А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трехлетним дитей на церковной паперти и сидят, ждут, когда поп церковь отопрет. Март месяц, сиверко дует, снег идет, на улице не то что собаки — воробья нет. Денег у них — шесть гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всем селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются «умники», отец ребенка — «забастовщик», мать — с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или: описывают имущество за недоимки, баба просит: «Позвольте в останний раз самовар согреть?» Разрешили: «Грей, а мы чаю попьем!» Она вынесла самовар в сени, да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: «Дай ей трепку, курве!» Муж — дал. Он бьет, а его натравливают: «Так ее!»

Иван был способен часами рассказывать о таких «картинках быта», и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни все ужасное и горестное для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнать их в изображении страшной жизни деревни, перегнать и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

— Вам надо писать, Иван Егорович!

— Да, надо бы! Только тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю ее как будто стыдно писать, выходит сплошь вопль и жалоба, а — кому

жаловаться? Ведь — некому! И — на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если — звери, стало быть — ничего, дави их, это — не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

— С правдой я не в ладах, — говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжелой головой. И повторил: — Стыдно писать про нее, и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я ее, как Клещ в «На дне», а иной раз люблюсь ею, — кажется, что в ужасе ее скрыта какая-то умная сила.

— Этого я у вас — не понимаю.

— Да я и сам не понимаю, — угрюмо сказал он и, помолчав, заговорил снова: — Вот — Бунин, ему — легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и — себе приятно и людям — удовольствие. И — поучительно: читают люди — думают: «Вот какие черти-звери в Орловской губернии живут! Стоит ли о таких чертях заботиться?» — Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

— Золотое перо, — говорил он, вздыхая, и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

— А видно, что лаптей — не носил, сена — не косил, земли — не пахал, шапкой пахарю махал.

И — снова хвалил:

— Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! — вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи:

— «О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливый, как могила!»

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его «Деревня» Бунина.

— В печенки въелась, — сознался он, усмехаясь. — Написал «Суходол», пропел панихиду дворянству, опомнился — «Деревню» написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы — еще хуже! Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

— Просто как! А за сердце берет!

Особенно восхищался он рассказом «Захар Воробьев».

— Это — на сто лет! — говорил он. — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупое, в двух-трех осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным, сказал:

— Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него — Азия, на четвереньках живем. Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он, вместо того, о прошлом дворянстве скушает.

И, взяв с полки «Суходол», он прочитал:

— «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей... И, называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то — бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам вообразить даже то, что было полвека тому назад».

— Слышите? А как раз полвека-то назад — крепостное право было. «Суходол» у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок «юбилейный вопль», «юбилейная панихида».

Я был уверен, что Вольнов начнет писать «под Бунина». Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:

— Как идет работа?

Он отмалчивался, но как-то раз сказал:

— Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принес первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряженная, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

— Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление, — действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели.

Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъясненно следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывертывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

«Вот как страшно! Вот как! А еще — вот как! И — вот как!»

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул ее в карман и, отирая пот с лица, сказал:

— Ну, знаю, что плохо! Сам слышал, — ни к чёрту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

— Да, а то ты — набухал сгоряча! Всю свою губернию дегтем и кровью вымазал.

— Не стоит говорить, — согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребрённых луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжелой воды, Иван рассказывал:

— Я — не писал, а — спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы^[11]. Вот в чем ошибка. Желаете правды? Вот вам — правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя — тяжелее! Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить.

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

— Когда я читал их, так — оглядывался: разве это наши крестьяне —

орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлиповцах» Решетникова:

— Они — где-то у черта на куличках, от моей совести — далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста верст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и черт ее знает что еще! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают... понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье — французы успокоили его:

— Пишут деловитее наших, — сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:

— Это — тоже «Суходол».

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

— После прочитаю, — говорил он и все более углублялся в работу писателя.

Эсеровская закваска его напоминала о себе не часто, но очень определенно. Как-то завязался разговор на тему о необходимости «выварить мужика в фабричном котле», он нахмурился и проворчал:

— Котлов-то нет. Да и строить их никому неохота, кроме иноземцев, а они — гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор. Вольнов, послушав насмешки минуту-две, сердито заявил:

— Глупо говорите! Азеф — мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предадут революцию, то есть, значит — весь народ, они — гораздо хуже Азефа!

И сквозь зубы произнес странные слова;

— Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете — не было этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от нее у него — сын, Илья; теперь это очень серьезный юноша, отличных

способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной, сторожевой башни, стена ее опускалась прямо в море, и во время прибоя волны бухали по стене с такой силой, что все дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто. Не знаю, кончил ли он эту повесть; судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать. Я встретился с ним в Москве в 1920 году, он приехал из Орла, где сидел в тюрьме. Безобидно и шутливо он рассказал, что местная власть не терпит его, сажала в тюрьму уже три раза и очень хотела бы расстрелять.

— Они меня арестуют, а мужики тихим манером — телеграмму Ильичу: выручай! Ильич выручит, а начальство еще злее сердится на меня. Начальство по всему уезду — знакомое: кое-кто в пятом году эсерствовал, потом оказался мироедом, вышел на отруба, землишки зацапал десятин полсотни. Один начальник — сиделец винной лавки, другой был прасолом, в одной волости командует учитель, которого я знал псаломщиком, черносотенцем, наши ребята в шестом году хотели башку сломать ему. Вообще там все, кто похитрее, перекрасились, а мужик остался при своих тараканах. В Малоархангельске среди чекистов оказался ученичок мой, солдат, сын мельника, так он мне прямо заявил: «Иван Егоров, не шуми! Враг разбит, революция кончена, теперь надобно порядок восстанавливать!» — «Как же, говорю, враг разбит, если ты командуешь? Как же революция кончена, если везде торчит ваша черная братия?»

Посмеиваясь и как будто не сожалея, он сказал:

— Все рукописи, записки мои — арестовали и не отдадут, должно быть, сожгли, черти!

Настроен он был хорошо: очень бодро, активно; трезво разбирался в событиях.

— Теперь — главное дело мужика на ноги ставить! Я там, у себя, организовал артель по совместной обработке земли, общественные огороды и еще кое-что... Бедные мужики значение совместного труда отлично понимают.

Он похвалил мужиков еще за что-то и тотчас же, как бы выполняя некую обязанность, обругал их за пьянство, за жадность.

— Привыкли в своих избах гнить, как покойники в могилах.

Был он с делегацией мужиков своего края у М. И. Калинина, был у Ленина. О Калинине кратко сказал:

— Староста — хорош! Мужикам очень понравился.

А на вопрос: какое впечатление вызвал Ленин, он ответил:

— От всякого интеллигента барином пахнет, а от него — нет!

О времени между 1917 и 1920 годами мне он ничего не рассказал, а на расспросы хмуро ответил:

— Зря болтался в разных местах.

После я узнал, что в 1918 году он дважды ездил в Сибирь за хлебом для Москвы, во вторую поездку очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем — в Самаре, когда она была занята эсеровской «народной» армией. Должно быть, именно в Самаре он близко наблюдал тех «вождей» партии эсеров, которые изображены им в повести «Встреча». Наша критика не обратила должного внимания на эту искреннюю и очень жуткую повесть, а она — один из наиболее ярких документов гражданской войны. Мне кажется, что здесь вполне уместно будет напомнить для характеристики Ивана Вольнова его предисловие к этой повести:

«Вам, мои единомышленники, далекие, неведомые братья мои, и вам, с кем об руку боролся я, посвящаю я эту повесть, которую официальные архиереи от эсерства назовут бесстыдной и гадкой.

Вам, кто в течение девяти ярчайших в русской истории лет не находит себе пристанища в стране своей, кто всем сердцем и всеми помыслами предан революции, но влачит жизнь жалкого обывателя [...]

Надо опомниться и осознать ошибки.

Я не зову вас прекращиваться, — это самое бесчестное и постыдное, что только можно сделать, ибо *мы не сумеем искренно перекраситься: мы из другого теста*, — я только призываю вас к мужеству осознания ошибок.

Всех перекрасившихся я мыслю нечестными и слабыми: в дни гонений на партию они испугались ответственности за ошибки и преступления ее и, играючи, перелетели в чужой лагерь. Так же легко и безболезненно они продадут и новых хозяев своих, если к тому представится случай. Такова психология трусов, стяжателей и честолюбцев.

Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хотелось ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были еще слабей и противнее.

Я хочу, чтобы вы, читая эту повесть, хоть в малой мере были искренни с собой и почувствовали, что мы почти слепы, что наши маленькие ущемленные самолюбьица натерли бельма на наших глазах, что Россия не отталкивала нас от себя, а *наши самолюбьица превратили нас во внутренних и внешних изгоев*».

В этих строчках особенно глубокое значение имеют слова: «Мы не

сумею искренно перекуситься, мы — из другого теста».

В 1928 году, зимою, в Сорренто, я спросил Вольнова:

— Настроение героя «Встречи», бывшего учителя Ивана Недоуздова, это — ваше настроение тех дней?

Он ответил, не задумываясь:

— Я считаю это настроение типичным для многих молодых эсеров в то время. В Самаре, а особенно после отступления из нее, очень многие партийцы рабочие и крестьяне поняли, в какую трупобу крови и грязи завел их Центральный комитет партии. Были самоубийства, дезертирство, переходы к большевикам. В Недоуздове есть кое-что мое — презрение и ненависть к вождям. Мое же настроение более определенно выражено в словах Недоуздова Португалову и потом в сознании Португалова, когда он говорит: «Мы проиграли». Эти слова говорил я, когда приехал в Самару, увидел вождей и познакомился с настроением «народной» армии. Развелось в ней много бандитов. Большинство, конечно, обманутые мужики, они уже чувствовали, что обмануты, что вожди партии снюхались с царским офицером, а офицер ведет крестьянство на расстрел, на гибель в своих хозяйских интересах. Страшные разыгрывались сцены...

Он рассказывал это сквозь зубы, глядя в пол, шаркая подошвой по кафелям пола.

— Слова Недоуздова о непробудном пьянстве Наполеончика с партийными проститутками, — это о Викторе Чернове. Я сам ездил за город приглашать его на одно из важных партийных заседаний, он — отказался, был пьян, окружен девками. Меня это так ошарашило, что я теперь не понимаю, как не догадался избить или застрелить его...

За все время моего знакомства с Иваном это был единственный раз, когда его «прорвало». С глубоким отвращением и остро наточенной ненавистью он рассказывал о Чернове и других людях, которым он верил, кого считал искренними революционерами, и было ясно, что поведение партийных вождей в гражданской войне было ударом, который разрушил все верования Вольнова. «Герои» оказались морально ниже любого из «толпы» — вот к чему сводилась его угрюмая и презрительная речь и вот что было, видимо, наиболее тяжелым моментом драмы, которую пережил Иван Вольнов, человек искренний и простодушный.

Сцена «Встречи», на которую он ссылался, в главном ее смысле такова: Недоуздов говорит:

— Всё у меня оборвалось в душе, Португалов! Всё.

Недоуздов болезненно рассмеялся, хватаясь за голову.

— Ах вы, петрушки, социал-спасители!.. А эти самарские трюки

Наполеончика, — какой ужас, какая гадость! Это непробудное пьянство, эти шатанья с партийными...^[12] по кафе и вертепам!.. А за Волгой лилась кровь... Охрипшими с перепоя голосами вы убеждали молодежь идти спасать Россию. И молодежь верила и умирала. Ах, проклятые, проклятые, подлые обманщики!..

— Ах, бросьте свое донкихотство! — сквозь стиснутые зубы проговорил Португалов. — Есть другой выход... — Он был бледен, хрустел пальцами. — Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими. Мы должны предупредить Каппеля. Мы арестуем главнокомандующего и Сольского с его тупоголовыми министрами, открываем фронт и, вместе с большевиками, бьем по Каппелю. Других путей нет. Или — или. Или служба черному Дидерихсу, или переход к красным, с которыми народ...

Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало ее, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: «Бывало, что отцы выдавали детей жандармам». Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув голову, хотел что-то сказать и — не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:

— Может быть, лучше — выкинуть отца-то?

Я посоветовал ему не делать этого.

— На мелодраму похоже, — пробормотал он, но тотчас же добавил: — Впрочем, мелодрама — тоже правда. Если — плохо, так уж — всегда правда.

И, не торопясь, взвешивая слова, рассказал:

— В тысяча девятьсот шестом году было такое — сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эсеру, но поп — выдал его. И

отца повесили в орловской тюрьме.

Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:

— Об эдаких делах хорошо бы забыть.

В другой раз он сердито пожаловался:

— Тяжело писать! Черт ее дери, эту правду прошлого! Из-за нее ничего не видно...

Как раньше, он все еще поругивал деревню, мужиков, было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть объективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твердая вера, что бедняцкое крестьянство встанет на ноги. Он говорил:

— Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.

В нем, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть, грустной природой русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и — не мог скрыть. Как раньше, на Капри, так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, ее неутомимым плодородием и негодовал:

— Одним — апельсины, виноград, оливы, а другим — еловые шишки...

Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда вдруг не являлся двое, трое суток, это значило, что он — пьет. Это уже был «запой». Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.

Жалко. Он был еще молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой «правды прошлого», и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнета старой, убийственной правды.

Он все искал, «кому жаловаться» на страшную жизнь мужика, и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжелой «власти земли», из рабства природы.

Он долго не верил, что сила эта — разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несет крестьянству действительное — и навеки! — освобождение от каторжной жизни.

Но жизнь, суровый наш учитель, все-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.

Как всякий честный человек, он нажил себе немало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знаменами, пением грозного гимна, в котором всё более мощно, все более уверенно звучат слова:

«Мы — свой, мы новый мир построим!»

Комментарии

С. 269. *Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов...* — Вольнов Иван Егорович (псевд. Иван Вольный, 1885–1931) имел ряд конспиративных имен.

...появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи... — Вольнов приехал на Капри позже, в Италию — в январе 1911 г.

...из Сибирской ссылки... — Бежав из Сибирской ссылки, Енисейской губернии, Вольнов приехал сначала в Швейцарию, а затем перебрался в Италию.

Сослан был как член партии социалистов-революционеров... — «По убеждениям я — социалист-революционер, — писал Вольнов В. Л. Бурцеву в феврале 1912 г. с Капри, — но партию в ее настоящем виде не особенно люблю...

...организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии — Вольнов был родом из села Куракино Малоархангельского уезда.

...сидел... в... Орловском «центrale» — В Орловской пересыльной тюрьме Вольнов оказался в 1908 г.

С. 270. *Золотарев Алексей Алексеевич (1878–1950)* — учился в семинарии в Рыбинске, вошел в революционную среду, был сослан в Нарымский край. Позже образование свое продолжил в Париже, Сорбонне. А в 1907 г. появился у Горького на Капри с рукописью первой своей повести «В старой лавре». Горький опубликовал ее в одном из сборников «Знания», дав молодому литератору путевку в жизнь. *Тимофеев Борис Александрович (1882–1920)* — по образованию медик, жил на Капри в 1912—13 гг., в частности автор повести «Сухие сучки», рекомендованной Горьким в 1912 г. журналу «Современник». *Лозина-Лозинский Алексей Константинович (псевд. — Я. Любич, Любич-Ярмонович, 1886–1916)* — автор ряда поэтических сборников. Все они овеяны пессимизмом.

С. 271. *Почти ежегодно приезжал Иван Бунин...* — На Капри к Горькому И. А. Бунин приехал в марте 1909 г. на месяц и снова — в апреле 1910 г. — опять на месяц, в следующем 1911 г. он опять был на Капри и стал ездить сюда ежегодно на продолжительный срок, не только отдыхать, но и работать. Каприйской зимой 1911/12 гг. Буниным написаны «Суходол», «Захар Воробьев», упоминаемые далее в тексте.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956) приехал на Капри в мае 1912 г. Горький ценил его повесть «Губернатор».

С. 273. *...там жил Виктор Чернов.* — В. М. Чернов, лидер и теоретик партии эсеров, бессменный член ее ЦК, после Октября — один из организаторов эсеровских мятежей.

...громили усадьбу князя Куракина... — Родители Вольнова — бывшие крепостные князей Куракиных. После Октябрьской революции, при содействии Горького, Вольнов был назначен представителем в Орловской губернии Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению. В его обязанности входило обеспечение сохранности усадеб, имеющих художественную и историческую ценность; охране подлежал, в частности, ценнейший архив в имении Куракиных — собрание документов, относящееся к истории России, Франции и Пруссии.

С. 275. *...встал на колени перед харьковским губернатором Оболенским...* — Оболенский И. М. — князь, харьковский генерал-губернатор, в 1902 г. подавил восстание крестьян в Харьковской и Полтавской губерниях. За жестокости, применяемые им по отношению к крестьянам, боевая организация эсеров приговорила его к смерти, но стрелявший в него Ф. К. Кочура промахнулся.

С. 277. *...в Орловской губернии живут!* — Бунин был земляком Вольнова, детство и юность его прошли в имении отца — Бутырки, расположенном в Орловской губернии.

«О, какая тоска...» — Из рассказа «Захар Воробьев».

Написал «Суходол»... опомнился — «Деревню» написал. — «Суходол»

писался в действительности позже «Деревни».

С. 278. *Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни»...* — «Детство» и «Отрочество», две первые части повести, были написаны на Капри. Повесть впервые напечатана в журнале «Заветы» за 1912 г. под названием «Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях».

С. 280. *Базен Рене (1853–1932) — французский писатель, автор романов «Умирающая земля», «Возрождающаяся земля», «Донасьен». Эстонье Эдуард (1862–1942) — французский писатель, автор романов «Жюльен Дарто», «Лабиринт», «Дубле Баллерон». Лемонье Камилл (1844–1913) — бельгийский романист. «Последний барон» Лемонье — это роман о крушении феодальной патриархальности под натиском чистогана.*

С. 281. *...сын Илья...* — Илья Иванович (р. 1913), сын Вольнова, окончил университет в Неаполе и в 1937 г. приехал в Россию. Доктор химических наук. Участник Великой Отечественной войны.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. — В Россию Вольнов возвратился после Февраля 1917-го, уехал к себе на родину, где был комиссаром Временного правительства в Малоархангельском уезде, его избрали в Учредительное собрание (от эсеров).

...в повести, которую он писал в 1928 году... в Сорренто. — Речь идет о повести «Комиссар Временного правительства». Вольнов не окончил ее.

Я встретился с ним в Москве, в 1920 году... — Очевидно, встреча произошла в 1919 г., в 1920 г. Вольнов был в Самаре.

С. 282. *...очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем — в Самаре...* — Отправившись летом 1918 г. снова за хлебом для голодающих центров России, Вольнов оказался отрезанным в Кунгуре, на Урале, «добровольческой армией» так называемого Самарского правительства — «Комитета членов Учредительного собрания». Комуч, как его сокращенно называли, состоял из меньшевиков и эсеров. Вырвавшись из Самары, Вольнов порвал с эсерами.

С. 284. *...предупредить Каппеля...* — Каппель В. О. — командующий 3-й армией Колчака.

Дидерикс М. К. — генерал армии Колчака.

Живя в Сорренто в 1928 году. — Вольнов приехал сюда, к Горькому, по его приглашению. С Горьким он виделся летом в Москве. Пробыл в Сорренто до апреля 1929 г.

С. 286...за трудную работу организации деревни на началах коллективизма... — Вольнов явился первым председателем колхоза в своем родном Куракине, и после смерти Вольнова колхоз был назван его именем.

КАМО

Написано в конце декабря 1931-го — в январе 1932 г. Впервые напечатано по-русски в газете «Заря Востока», 1932, июль, и в журнале «30 дней», 1932, № 8.

В ноябре — декабре 905 года, на квартире моей, в доме на углу Моховой и Воздвиженки, где теперь помещается ВЦИК, жила боевая дружина грузин, двенадцать человек. Организованная Л. Б. Красиным и подчиненная группе товарищей-большевиков, Комитету, который пытался руководить революционной борьбой рабочих Москвы, — дружина эта несла службу связи между районами и охраняла мою квартиру в часы собраний. Несколько раз ей приходилось выступать активно против «черных сотен», и однажды, накануне похорон Н. Э. Баумана, когда тысячная толпа черносотенцев намеревалась разгромить Техническое училище, где стоял гроб Николая Эрнестовича, убитого мерзавцем Михальчуком^[13], хорошо вооруженная, но маленькая дружина грузинской молодежи рассеяла эту толпу.

К ночи, утомленные трудами и опасностями дня, дружинники собирались домой и, дежа на полу комнаты, рассказывали друг другу о пережитом за истекший день. Все это были юноши в возрасте 18–22 лет, а командовал ими товарищ Арабидзе, человек лет под тридцать, энергичный, строго требовательный и героически настроенный революционер; если не ошибаюсь, это он застрелил в 908 году генерала Азанчеева-Азанчевского, начальника одного из карательных отрядов в Грузии.

Арабидзе был первый человек, от кого я услышал имя Камо и рассказы о деятельности этого исключительно смелого работника в области революционной техники.

Рассказы были настолько удивительны и легендарны, что даже в те героические дни с трудом верилось, чтоб человек был способен совмещать в себе так много почти сказочной смелости с неизменной удачей в работе и необыкновенную находчивость с детской простотой души. Мне тогда подумалось, что, если написать о Камо все, что я слышал, — никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет

образ Камо как выдумку беллетриста. И почти всё, что рассказывал Арабидзе, я объяснял себе революционным романтизмом рассказчика.

Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает «выдумку» своей сложностью и яркостью.

Вскоре рассказы о Камо подтвердил мне Н. М. Флеров, человек, которого я знал еще в 92 году в Тифлисе, где он работал корректором в газете «Кавказ». Тогда он был «народником», только что вернулся из сибирской ссылки, очень устал там, но познакомился с Марксом и весьма красноречиво убеждал меня и товарища моего Афанасьева в том, что «На нас работает история».

Как многим уставшим, эволюция нравилась ему больше революции.

Но в 905 году он явился в Москву другим человеком.

— У нас, батенька, начинается социальная революция, понимаете? Начинается и будет, потому что началась снизу, из почвы, — говорил он, сухо покашливая, осторожным голосом человека, легкие которого сжигает туберкулез. Мне было приятно видеть, что он утратил близорукость узкого рационалиста, радостно слышать горячие слова.

— Какие удивительные революционеры выходят из рабочей среды! Вот послушайте!

Он начал рассказывать об одном удивительном, а я, послушав, спросил:

— Его зовут Камо?

— Вы знаете? Ага, только по рассказам...

Он крепко потер свой высокий лоб и седые редкие кудри на лысоватом черепе, подумал и сказал, напомнив мне скептика и рационалиста, каким был он за 13 лет до этой встречи:

— Когда о человеке говорят много — значит, это редкий человек и, может быть, та «одна ласточка», которая «не делает весны».

Но, отдав этой оговоркой дань прошлому, он подтвердил мне рассказы Арабидзе и, в свою очередь, рассказал:

В Баку, на вокзале, куда Флеров пришел встречать знакомую, его сильно толкнул рабочий и сказал вполголоса:

— Пожалуйста, ругай меня!

Флеров понял, что надобно ругать, а, пока он ругал, — рабочий, виновато сняв шапку, бормотал ему:

— Ты — Флеров, я тебя знаю. За мной следят. Приедет человек с повязанной щекой, в клетчатом пальто, скажи ему: «Квартира провалилась, засада». Возьми его себе. Понял?

Затем рабочий, надев шапку, сам дерзко крикнул:

— Довольно кричать! Что ты? Я тебе ребро сломал? Флеров засмеялся:

— Ловко сыграл? После я долго соображал: почему он не возбудил у меня никаких подозрений и я так легко подчинился ему? Вероятно, меня поразило приказывающее выражение его лица; провокатор, шпион попросил бы, а не догадался приказать. Потом я встречал его еще раза два-три, а однажды он ночевал у меня, и мы долго беседовали. Теоретически он человек не очень вооруженный, знает это и очень стыдится, но читать, заняться самообразованием у него нет времени. Да это как будто и не очень нужно ему, он революционер по всем его эмоциям, революционер непоколебимый, навсегда, революционная работа для него физиологически необходима, как воздух и хлеб.

Года через два, на острове Капри, снова поставил передо мной фигуру Камо — Леонид Красин. Мы вспоминали товарищей, и он, усмехаясь, спросил:

— А помните, в Москве вас удивило, что я на улице подмигнул щеголеватому офицеру-кавказцу? Вы, удивясь, спросили: кто это? Я назвал вам: князь Дадешкелиани, знакомый по Тифлису. Помните? Мне показалось, вы не поверили в мое знакомство с таким петухом и как будто даже заподозрили меня в озорстве. А это был Камо. Отлично он играл роль князя. Теперь он арестован в Берлине и сидит в таких условиях, что, наверное, его песня спета. Сошел с ума. Между нами — не совсем сошел, но это его едва ли спасет. Русское посольство требует его выдачи как уголовного. Если жандармам известна хотя бы половина всего, что он сделал, — повесят Камо.

Когда я рассказал все, что слышал о Камо, и спросил Красина — сколько тут правды, он, подумав, ответил:

— Возможно, что все правда. Я тоже слышал все эти рассказы о его необыкновенной находчивости и дерзости. Конечно, рабочие, желая иметь своего героя, может быть, несколько прикрашивают подвиги Камо, создают революционную легенду, понимая ее классово-воспитательное значение. Но все-таки он парень на редкость своеобразный. Иногда кажется, что он избалован удачами и немножко озорничает, балаганит. Но это у него как будто не от легкомыслия молодости, не из хвастовства и не от романтизма, а из какого-то другого источника. Озорничает он очень серьезно, но в то же время как бы сквозь сон, не считаясь с действительностью. Был такой случай: незадолго до ареста, в Берлине он шел по улице с товарищем, русской девицей, она указала ему в окне бургерского домика на подоконнике котенка и говорит: «Смотрите, какой хороший!» Камо подпрыгнул, схватил котенка и подал спутнице: «Возьми, пожалуйста!»

Девушка должна была доказывать немцам, что котенок сам спрыгнул из окна. Это не единственный анекдот такого рода, и я объясняю их тем, что у Камо совершенно отсутствовал инстинкт собственности. «Возьми, пожалуйста», — это он говорил часто и тогда, когда дело касалось его собственной рубахи, его сапог, вообще вещей, лично необходимых ему.

— Добрый человек? Нет. Но отличный товарищ. Мое, твоё — он не различал. «Наша группа», «наша партия», «наше дело»...

— Другой раз, тоже в Берлине, на очень оживленной улице какой-то лавочник вышвырнул из двери мальчишку. Камо рванулся в лавку, испуганный спутник едва удержал его, а он вырывается и кричит: «Пусти, пожалуйста, ему надо морду бить!» Возможно, что это он репетировал свою роль безумного, но — это мне теперь кажется. А в то время пускать его на улицу без провожатого было невозможно: он, казалось, только за тем и выходил, чтоб впутаться в какой-нибудь скандал.

— Верно, он сам рассказал мне, что во время одной экспроприации, где он должен был бросать бомбу, ему показалось, что за ним наблюдают двое сыщиков. До момента действия оставалась какая-то минута. Он подошел к сыщикам и сказал: «Убирайтесь прочь, стрелять буду!»

— «Ну, что ж, ушли они?» — спросил я.

— «Конечно, убежали».

— «А почему ты сказал им это?»

— «Что такое — почему? Надо было сказать — сказал».

— «А все-таки почему? Жалко стало?»

Он — рассердился, покраснел.

— «Ничего не жалко! Может быть, просто бедные люди. Какое им дело? Зачем тут гуляют? Я не один бросал бомбы; ранить, убить могли».

— Его поведение в этом случае дополняется и, может быть, объясняется другим: где-то в Дидубе он выследил шпиона, схватил его, прижал к стене и начал убеждать: «Ты — бедный человек? Зачем служишь против бедных людей? Тебе товарищи богатые, да? Почему ты подлец? Хочешь — убью?»

— «Шпион» не пожелал, чтоб его убили, он оказался русским рабочим из батумской группы, приехал за литературой, но потерял адрес квартиры товарища, в которой раньше останавливался, и искал ее по памяти. Видите, какой оригинальный парень Камо?

Самый изумительный из его подвигов — гениальная симуляция душевнобольного, симуляция, которая ввела в заблуждение премудрых берлинских психиатров. Но искусная симуляция не помогла Камо, правительство Вильгельма II все-таки выдало его жандармам царя, и,

закованный в кандалы, отвезенный в Тифлис, он был помещен в психиатрическое отделение Михайловской больницы. Если я не ошибаюсь, он симулировал безумие в продолжении трех лет. Его бегство из больницы в Тифлисе тоже — фантастический фокус.

Лично с Камо я познакомился в 20 году, в Москве, в квартире Фортунато, бывшей моей квартире на углу Воздвиженки и Моховой.

Крепкий, сильный человек, с типичным лицом кавказца, с хорошим, очень внимательным и строгим взглядом мягких, темных глаз, он был одет в форму бойца Красной Армии.

По его осторожным и неуверенным движениям чувствовалось, что непривычная обстановка несколько смущает Камо. Сразу стало понятно, что расспросы о революционной работе надоели ему и что его целиком поглощает другое. Он готовился поступить в военную академию.

— Трудно понимать науку, — огорченно говорил он, шлепая, поглаживая ладонью какой-то учебник, точно ласкал сердитую собаку. — Рисунков мало. Надо делать в книгах больше картинок, чтобы сразу видно было, что такое дислокация. Вы знаете, что это такое?

Я — не знал, а Камо смущенно улыбнулся, сказав:

— Вот видите...

Улыбка была беспомощная и какая-то детская. Эта беспомощность была хорошо знакома мне, я в юности тоже часто испытывал ее, постигая словесную мудрость книг. Понятно было мне и то, как, должно быть, трудно одолевая сопротивление книги смелому практику, для которого служба революции прежде всего — дело, творчество новых фактов.

Это при первой же встрече с Камо вызвало у меня горячую симпатию к нему, а чем дальше, тем более он поражал меня глубиной, цельностью и ясностью его революционного чувства.

Совершенно невозможно было соединить все, что я знал о легендарной дерзости Камо, о его сверхчеловеческой воле, изумительном самообладании, с человеком, который сидел предо мной за столом, нагруженным учебниками.

Невероятно, что, пережив такое длительное напряжение сил, он остался таким простым, милым товарищем и сохранил душевную молодость, свежесть, силу.

Он еще не изжил в себе юношу и юношески романтично был влюблен в хорошую женщину, хотя и не блиставшую красотой, да, кажется, и старше его.

О своем романе он говорил с тем лиризмом страсти, который доступен

только очень здоровым, сильным и целомудренным юношам:

— Она замечательная! Доктор, понимаешь, и всё знает, все науки. Она приходит с работы и говорит мне: «Что такое? Не можешь понять? Так это — очень просто!» И — верно! Очень просто! Ах, какой человек!

И, рассказывая о романе своим словами иногда смешными, он делал неожиданные паузы, трепал руками густые, курчавые волосы на голове и смотрел на меня, молча спрашивая о чем-то.

— Ну, и что же? — поощрял я его.

— Вот видишь как... — неопределенно сказал он, и нужно было долго допрашивать его, чтоб услышать наивнейший вопрос:

— А может быть, не надо жениться?

— Почему?

— Знаешь — революция, учиться надо, работать надо, враги кругом, — драться надо!

И по нахмуренным бровям, по суровому блеску глаз ясно было, что его сильно мучает вопрос: а не будет ли женитьба изменой делу революции? Было странно, и немножко комично, и как-то особенно трогательно, что юношеская свежесть и сила его чувства мужчины не совпадает с его могучей энергией революционера.

С такой страстью, как о своей любви к женщине, он говорил о необходимости поехать за границу, работать там.

— Просил Ильича: «Отпусти, я буду за границей полезный человек!» — «Нет, сказал, учись!» Ну, что ж? Он — знает. Такой человек! Смеется, как ребенок, ты слышал, как смеется Ильич?

Улыбнулся ясно и снова потемнел, жалуясь на трудности постижения военной науки.

Когда я расспрашивал его о прошлом, он неохотно подтверждал все необыкновенные рассказы о нем, но — хмурился и мало добавлял нового, незнакомого мне.

— Глупостей тоже много делал, — сказал он однажды. — Напоил одного полицейского вином, смолой башку ему намазал, бороду намазал. Знакомый был. Спрашивает меня: «Ты вчера чего в корзине носил?» — «Яйца». — «А какие бумаги под ними?» — «Никаких бумаг!» — «Врешь, говорит, я видел бумаги!» — «А что ж не обыскал?» — «Я, говорит, из бани шел». Вот какой глупый. Рассердился я — зачем заставляет меня врать? Повел его в духан, напился он там пьяный, намазал ему. Молодой я был, озорничал еще, — закончил он и сморщил лицо, точно отведав кислого.

Я стал уговаривать его писать воспоминания, убеждал, что они были бы крайне полезны для молодежи, не знакомой с технической работой, —

он долго не соглашался, отрицательно встряхивал курчавой головой.

— Не могу. Не умею. Какой я писатель, некультурный человек?

Но согласился, когда признал, что воспоминания его тоже — служба революции. И, вероятно, как всегда в жизни своей, приняв решение, он тотчас же взялся за дело.

Писал он не очень грамотно, суховато и явно стараясь говорить больше о товарищах, меньше — о себе. Когда я указал ему на это, он рассердился:

— Что мне — молиться на себя нужно? Я. — не поп.

— Разве попы на себя молятся?

— Ну — кто еще? Барышни молятся?

Но после этого стал писать более ярко и менее сдержанно о себе.

Был он своеобразно красив особенной, не сразу заметной красотой.

Сидит предо мной сильный, ловкий человек в костюме бойца Красной Армии, а я вижу его рабочим, разносчиком куриных яиц, фаэтонщиком, щеголем, князем Дадешкелиани, безумным человеком в кандалах, — безумным, который заставил ученых мудрецов поверить в правду его безумия.

Не помню, по какому поводу я упомянул, что у меня на Капри жил некий Триадзе, человек о трех пальцах на левой руке.

— Знаю его — меньшевик! — сказал Камо и, пожав плечами, презрительно сморщив лицо, продолжал: — Меншевиков не понимаю. Что такое? На Кавказе живут, там природа такая... горы лезут в небо, реки бегут в море, князья везде сидят, все — богато, люди — бедные! Почему меньшевики такие слабые люди, почему революции не хотят?

Он говорил долго, речь его звучала все более горячо, но какая-то его мысль не находила слов. Он кончил тем, что, глубоко вздохнув, сказал:

— Много врагов у рабочего народа! Самый опасный — который нашим языком неправду умеет говорить.

Само собою разумеется, что больше всего хотелось мне попятить — как этот человек, такой «простодушный», нашел в себе силу и умение убедить психиатров в своем будто бы безумии?

Но ему, видимо, не нравились расспросы об этом. Он пожимал плечами, неохотно, неопределенно:

— Ну, как это сказать? Надо было! Спасал себя, считал полезным революции.

И только когда я сказал, что он в своих воспоминаниях должен будет писать об этом тяжелом периоде своей жизни, что это надобно хорошо

обдумать и, может быть, я оказался бы полезен ему в этом случае, — он задумался, даже закрыл глаза и, крепко сжав пальцы рук в один кулак, медленно заговорил:

— Что скажу? Они меня щупают, по ногам бьют, щекотят, ну, всё такое... Разве можно душу руками нащупать? Один заставил в зеркало смотреть, ну — смотрю: в зеркале не моя рожа, кто-то худой, волосами оброс, глаза дикие, голова лохматая — некрасивый! Страшный даже. Зубы оскалил. Сам подумал: «Может — это я действительно сошел с ума?» Очень страшная минута! Догадался — плюнул в зеркало. Они оба переглянулись, как жулики — знаешь? Я думаю: это им понравилось — человек сам себя забыл!

Помолчав, он продолжал тише:

— Очень много думал: выдержу или действительно сойду с ума? Вот это было нехорошо. Сам себе не верил, понимаешь? Как над обрывом висел, а за что держусь — не понимаю. Не вижу.

И, еще помолчав, он широко усмехнулся, говоря:

— Они, конечно, свое дело знают, науку свою. А кавказцев не знают. Может, для них всякий кавказец — сумасшедший? А тут еще — большевик. Это я тоже подумал тогда. Ну, как же? Давайте продолжать: кого скорее с ума сведет? Ничего не вышло: они остались при своем, я — тоже при своем. В Тифлисе меня уже не так пытали. Видно, думали, что немцы не могут ошибиться.

Из всего, что он рассказывал мне, это был самый длинный рассказ. И, кажется, самый неприятный для него. Через несколько минут он неожиданно вернулся к этой теме, толкнул меня тихонько плечом, — мы сидели рядом, — и сказал вполголоса, но жестко:

— Есть такое русское слово — ярость, знаешь? Я не понимал, что это значит — ярость? А вот тогда, перед докторами, я был в ярости, — так думаю теперь. Ярость — очень хорошее слово! Страшно нравится мне. Разъярился, ярость! Верно, что был такой русский бог — Ярило?

И, услышав: да, был такой бог — олицетворение творческих сил, — он засмеялся.

Для меня Камо — один из тех революционеров, для которых будущее — реальнее настоящего. Это вовсе не значит, что они мечтатели, нет, это значит, что сила их эмоциональной классовой революционности так гармонично и крепко организована, что питает разум, служит почвой для его роста, идет как бы впереди его.

Вне революционной работы вся действительность, в которой живет их

класс, кажется им чем-то подобным дурному сновидению, кошмару, а реальная действительность, в которой они живут, — это социалистическое будущее.

Комментарии

С. 287. ...подчиненная... *Комитету* — Московскому комитету РСДРП (б).

...накануне похорон Н. Э. Баумана... убитого... Михальчуком... — Н. Э. Бауман был убит 18 октября 1905 г. надзирателем рабочего барака Н. Ф. Михалиным — наповал, обрезком газовой трубы, когда Бауман ехал на извозчике по Немецкой улице. Он намеревался присоединить к шедшим освобождать заключенных Таганской тюрьмы еще группу рабочих, которые, как он видел, столпились у ворот фабрики Дюфурмантеля. Похороны Баумана, состоявшиеся 20 октября, превратились в многотысячную демонстрацию.

...разгромить Техническое училище, где стоял гроб Николая Эрнестовича... — В Техническом училище в эти дни помещался штаб Московского комитета РСДРП (б).

Арабидзе Васо (1881–1951) — активный участник также и Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

...застрелил в 908 году генерала Азанчеева-Азанчевского... — Имеется в виду генерал-лейтенант Максуд Алиханов-Аварский, бывший в 1905—06 гг. военным губернатором Кутаисской области. Застрелен одним из дружинников Арабидзе.

...имя Камо. — Тер-Петросян Симон Аршакович (1882–1922), Камо — партийная кличка.

С. 288. Флеров Николай Михайлович (ок. 1860–1915) — народоволец, затем член РСДРП, большевик. Горький считал, что Флеров стал социал-демократом под влиянием Красина.

С. 289. ...князь Дадешкелиани... — В 1905 г. Камо приезжал в Петербург за оружием и взрывчаткой, имея при себе паспорт на имя Коки Дадияни.

...арестован в Берлине... — Камо был арестован в Берлине 27 октября (9 ноября) 1907 г. В чемодане его при аресте находились двести капсюлей бомб огромной разрушительной силы.

Между нами — не совсем сошел... — После свидания с Камо в берлинской тюрьме Красин понял: Камо начал симулировать сумасшествие. Для него это была единственная возможность избежать многолетней каторги в Германии или виселицы в России, если Германия выдаст его царским властям.

С. 291. *Дидуба* — так называли северную часть Тбилиси.

...его бегство из больницы в Тифлисе... — В мае 1911 г. особое присутствие тифлисского окружного суда подтверждает, что Камо ненормален, а в августе он бежит из Михайловской больницы. Несколько дней скрывается в подвалах больницы, а затем под видом преуспевающего турецкого купца садится на пароход в Батуме и отправляется в Льеж. А оттуда — в Париж, к Ленину.

*Фортуна*то Софья Владимировна (1850–1929) — дочь В. В. Стасова, мать С. В. Медведевой-Петросян, жены Камо.

С. 293. *Но согласился...* — Свою автобиографию он начал наговаривать машинистке, однако успел довести ее только до 1905 г. Камо погиб 14 июля 1922 г. Велосипед, на котором ехал Камо, на Верийском спуске налетел на автомобиль.

С. 294. *...некий Триадзе — Мгеладзе* Влас (1868—?) — социал-демократ, колебался между большевиками и меньшевиками. Участник революционного движения в Персии в 1907—08 гг. Партийная кличка — Триа. Триадзе — шуточное сочетание фамилии и партийной клички.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Написано в декабре 1926 г., для предполагавшегося сборника памяти С. А. Есенина. Впервые полностью напечатано в кн.: Горький М. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, «Книга», 1927.

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидел Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и

видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснуто гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывая и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что, в общем, он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им?

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бежит, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня,

когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

*Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!*

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

*Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.*

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

*Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
...Дорогая, я плачу,
Прости... прости...*

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались

театральными.

*Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?*

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужели его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячее:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

*Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?*

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

*Дорогие мои...
Хор-рошие...*

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов, — сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

*Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег*

— на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для

поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»^[14], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум, — сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали, — сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных, — сказал оп.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановись перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людьми, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

Комментарии

С. 296. *В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский...* — Жеромский Стефан (1864–1925) — польский писатель, в 1907 г. лечился на Капри. Тодоров Петко (1879–1916) был на Капри неоднократно.

...увидал Есенина в Петербурге в 1914 году... — Есенин Сергей Александрович (1895–1925) приехал в Петроград в марте 1915 г.

...вместе с Клюевым... — Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) — поэт, познакомился с Есениным только осенью 1915 г. Возможно, что именно тогда и произошла встреча Горького с Есениным, — Горький предполагал в февральском номере журнала «Летопись», в следующем году, дать «Марфу Посадницу» Есенина.

...открытки Самокиш-Судковской... — Самокиш-Судковская Елена Петровна (р. 1860-63—?).

...вероятно, о войне... — Имеется в виду первая мировая война.

С. 297. *Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине в квартире А. Н. Толстого.* — Очевидно, встреча произошла 17 мая 1922 г. Есенин приехал в Берлин 1 мая. В Берлине Горький пробыл некоторое время после того, как в октябре 1921 г. уехал по настоянию В. И. Ленина лечиться за границу. Толстой жил в Берлине на правах эмигранта, в августе 1923 г. он вернулся на Родину.

Дункан Айседора (1877–1927) — танцовщица, жена Есенина, в 1921—24 гг. жила в России. Кусиков Александр Борисович (1896–1977) — поэт-имажинист, позже эмигрант. В описываемое время сопровождал Есенина и Дункан в их заграничном путешествии.

С. 298. *«Хорошо бы, на стог улыбаясь...»* — Из стихотворения «Закружилась листва золотая...».

«Я хожу в цилиндре не для женщин...» — Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...»

«Излюбили тебя, измызгали... — Из стихотворения «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...», так же как и последующая строка «Что ж ты смотришь так синими брызгами...».

...монолог Хлопуши... — Из поэмы Есенина «Пугачев». Хлопуша, «уральский каторжник», отпущенный из каторжной тюрьмы, чтобы зарезать Пугачева, приходит в его лагерь, чтобы стать сподвижником.

С. 299. *...вопрос Пугачева...* — Глава «Конец Пугачева». Видя, что они разбиты, недавние товарищи Пугачева вяжут его — они пытаются, выдав вожака правительству, спасти свои жизни.

...да он... и не нуждался в них.... — Есенин подарил Горькому свою поэму «Пугачев» (М., 1922) с надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 1922, май 17, Берлин».

С. 300. *...«Рай животных» Клоделя...* — Горький, очевидно, имел в виду рассказ Франсиса Жамма из книги «Стихи и проза» (М., 1913).

ИЛЛЮСТРАЦИИ



В. И. Ленин. Москва, июль 1920 года.



*В. И. Ленин в гостях у А. М. Горького на острове Капри играет в шахматы с А. А. Богдановым.
Италия, 1908 год.*



В. И. Ленин и А. М. Горький. Петроград, 1920 год.



Н. Е. Каронин-Петропавловский.



Нижний Новгород. Софроновский съезд.



Дом на Канатной улице в Нижнем Новгороде. Здесь в 1900–1901 годах жил А. М. Горький.

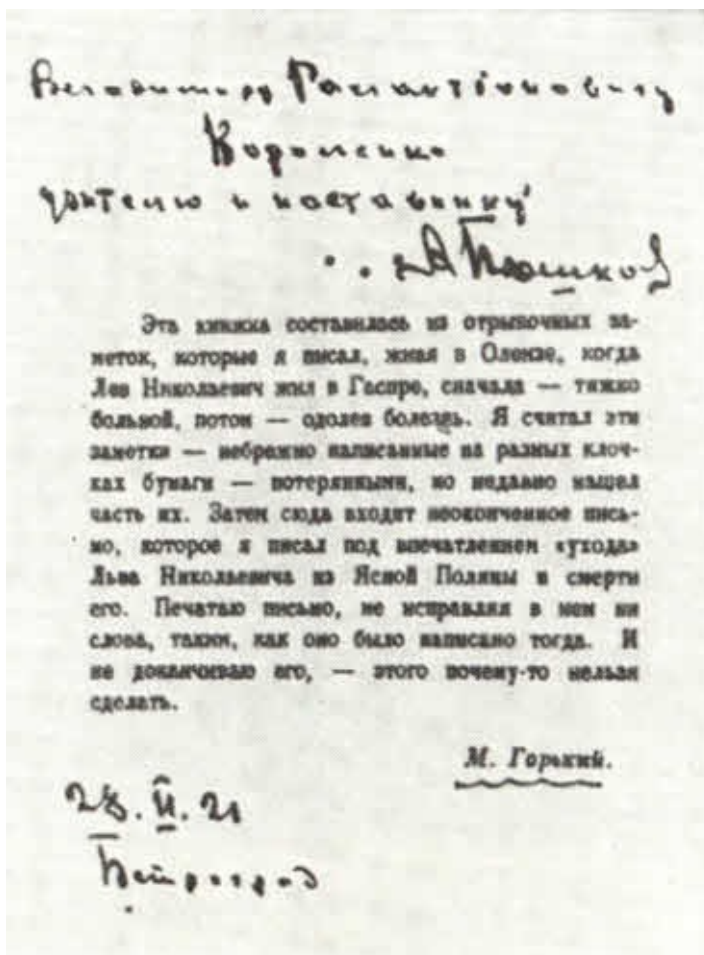


В. Г. Короленко.



В. Г. Короленко в группе сотрудников «Русского богатства». Слева направо: Н. Ф. Анненский, Р. Ф. Якубович — жена поэта, С. Я. Елпатьевский, поэт П. Ф. Якубович, А. С. Короленко, А. И. Куприн, Л. И. Елпатьевская — жена писателя, В. Г. Короленко.

Фото начала 1900-х годов.



Первая страница книги А. М. Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» с дарственной надписью В. Г. Короленко.



Н. К. Михайловский.



А. М. Горький. 1891 год.



Н. Г. Гарин-Михайловский.



А. М. Горький и А. Н. Алексин. Ялта.



На террасе чеховского дома в Ялте, 1902 год. А. П. Чехов, А. М. Горький, М. П. Чехов, С. В. Чехова и Володя Чехов — жена и сын И. П. Чехова.



Дом Чеховых в Ялте. 1900 год.



А. П. Чехов и А. М. Горький. Ялта, 1900 год.



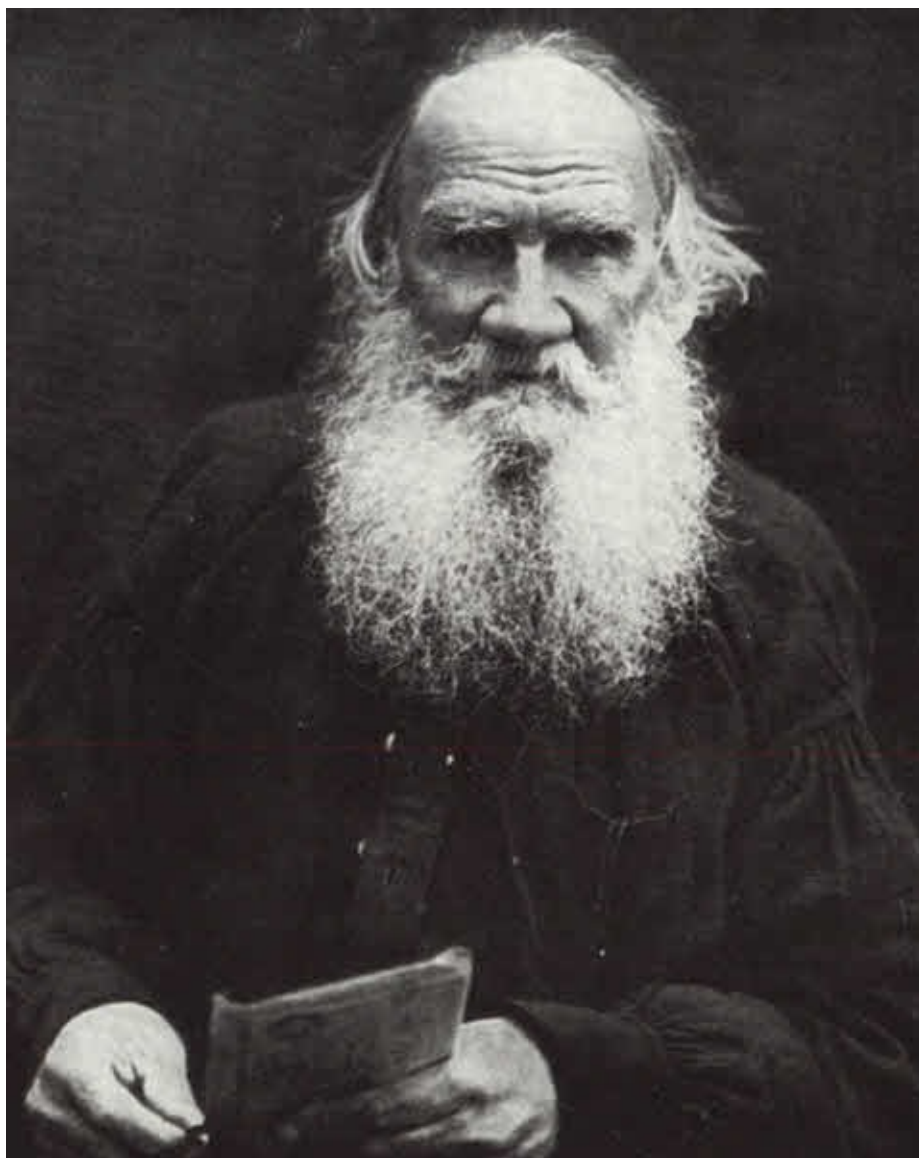
Чехов с артистами Московского Художественного театра. Стоят (слева направо): Вл. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, О. Л. Книппер, А. И. Андреев, М. П. Николаева, М. Л. Роксанова; сидят: Е. М. Раевская, А. Л. Вишневский, А. Р. Артем, К. С. Станиславский, А. П. Чехов, М. П. Лилина, И. А. Тихомиров.



В. М. Васнецов рисует по памяти А. М. Горького. Слева — доктор Л. В. Средин, справа — доктор А. Н. Алексин. Ялта, 1900 год.



А. П. Чехов и Л. Н. Толстой. Гаспра, 1901 год.



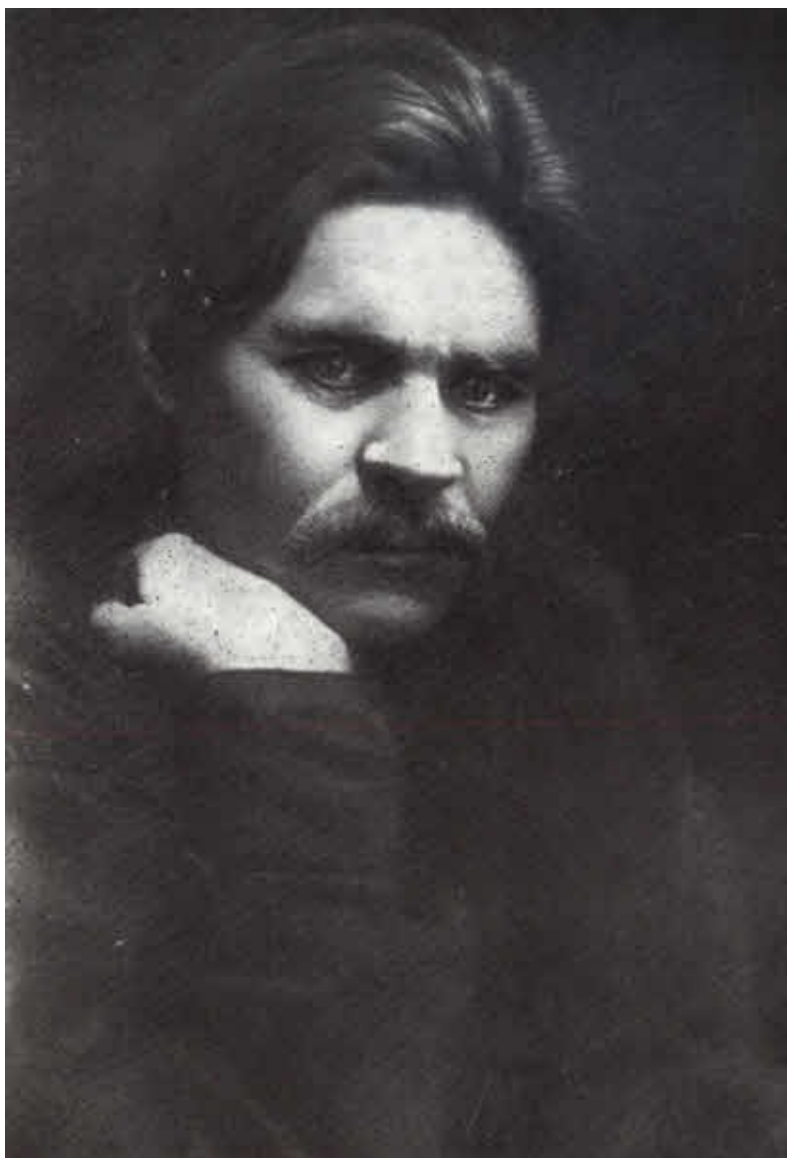
Л. Н. Толстой. Кочеты, 1910 год.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая в годовщину свадьбы. Ясная Поляна, 1910 год.



Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Ясная Поляна, 1900 год.



М. Горький. Америка, 1906 год.



Л. Н. Андреев, Л. А. Сулержицкий, А. М. Горький. Олени, 1902 год.



С. Т. Морозов. Москва, конец 1890-х — начало 1900-х годов.



А. М. Горький, В. В. Стасов, И. Е. Репин. Финляндия. Куоккала, 1904 год.



Леонид Красин. 90-е годы.



М. М. Коцюбинский.



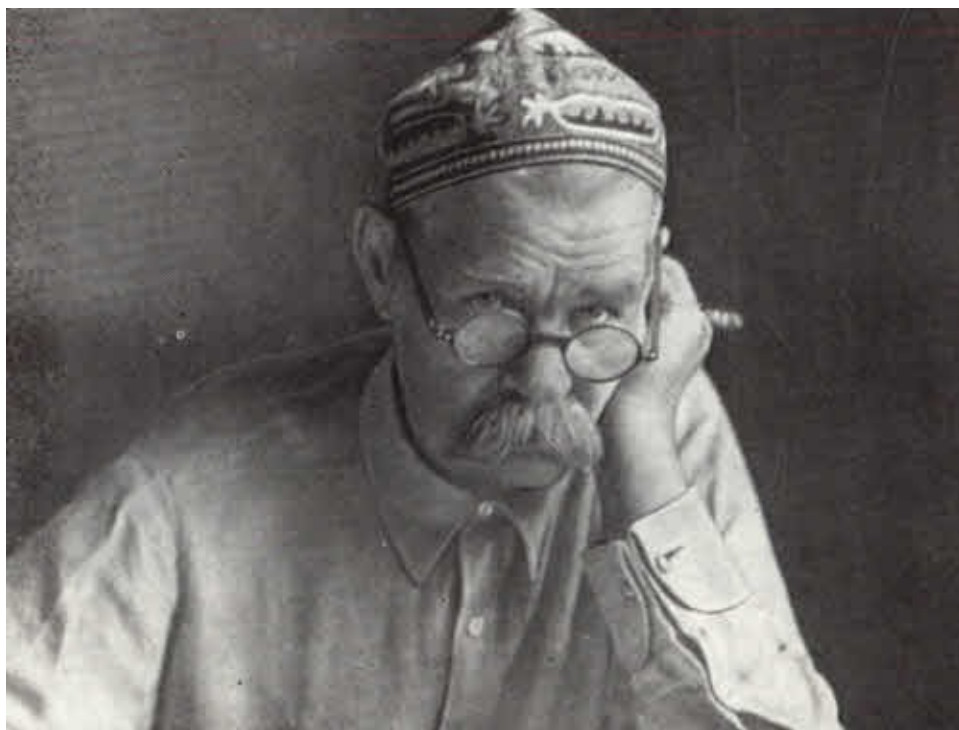
С. А. Тер-Петросян (Камо).



И. И. Скворцов-Степанов и А. М. Горький в редакции газеты «Известия». 1928 год.



Михаил Вилонов.



А. М. Горький. Сорренто, 1930 год.



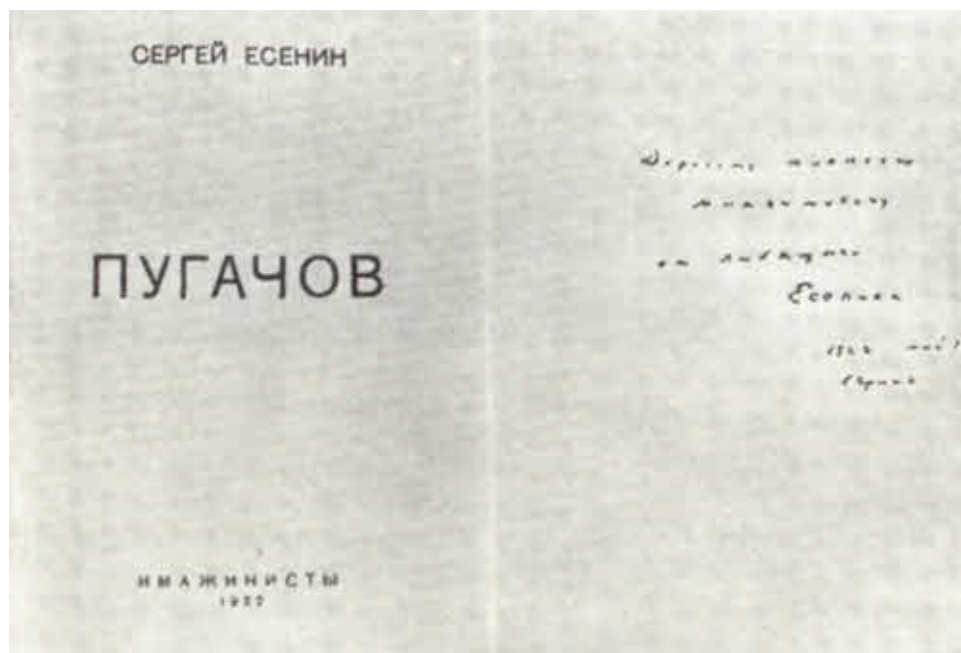
И. Е. Вольнов. Фото с дарственной надписью Е. П. Пешковой.



Сергей Есенин.



Сергей Есенин.



Экземпляр поэмы «Пугачев» с дарственной надписью С. А. Есенина Горькому: «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 1922, май 17. Есенин».



А. М. Горький. Горки, 1936 год.

Горький М.

Г 71 Литературные портреты. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 367 с., ил., фотогр. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 11 (358)).

В пер. 1 р. 60 к., 100 000 экз.

Г 4702010200—239 / 078(02)—83 183-83

ББК 84 Р7

Р2

ИБ № 3586

Алексей Максимович Горький
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Составитель и автор примечаний *Г. Померанцева*

Редактор *М. Фырнин*

Серийная обложка *Ю. Арндта*

рисунок на обложке *А. Катина*

Художественный редактор *А. Степанова*

Технический редактор *В. Пилкова*

Корректоры *Т. Пескова, Н. Мейланд*

Сдано в набор 15.12.82. Подписано к печати 09.09.83.
Формат 84x108/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32 + 1,78
вкл. Учетно-изд. л. 23,2. Тираж 100 000 экз. (50 001–100 000 экз.).
Цена 1 р. 60 к. Заказ 2152.

Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства
и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

notes

Примечания

1

Приятного аппетита.

Красивой леди (*англ.*).

3

Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?

Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т. 2. [М., 1899], с. 364.
(Примеч. М. Горького.)

Куцевский. «Неизданные рассказы». [Спб., 1882], с. 179–185. (*Примеч. М. Горького.*)

Пророчество Каронина вскорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении», и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротивления злу» выступил со злейшей критикой «нового Евангелия». *(Примеч. М. Горького.)*

Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «аглицком королевиче», суть «интеллигентская легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в нижегородском краю. В 1903 году я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника. *(Примеч. М. Горького.)*

Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы. (*Примеч. М. Горького.*)

По-своему (*франц.*).

Кто кого вытеснял? Темный этот вопрос несколько освещается в докладе жандармского генерала Львова. Генерал, «донося по начальству» в Петербург о последних днях жизни Льва Толстого, пишет между прочим: «Андрей Толстой в разговорах с ротмистром Савицким высказывал, что изолирование Толстого от семьи, в особенности от жены, является результатом воздействия именно Черткова на врачей и дочь Александру».

И — далее: «По отдельным фразам можно было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по причинам, не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».

Доклад Львова напечатан в 4-й книге «Красного архива». (*Примеч. М. Горького.*)

Родионов — земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор нашумевшей книги «Наше преступление». В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками. (*Примеч. М. Горького.*)

В тексте повести очень резкое и едва ли справедливое слово. (Примеч. М. Горького.)

Михальчук — дворник одного из домов Немецкой, ныне Бауманской, улицы. За убийство Баумана был оправдан. В 906 году судился за кражу домашних вещей — и обвинен. (*Примеч. М. Горького.*)

Слова С. Н. Сергеева-Ценского. (*Примеч. М. Горького.*)